

За хлебом. Генрик Сенкевич

I

На океане. — Размышление. — Буря. — Прибытие

На широких волнах океана колыхался немецкий пароход «Блюхер», шедший из Гамбурга в Нью-Йорк.

Пароход уже четыре дня был в пути, а два дня тому назад обогнул зеленые берега Ирландии и вышел в открытый океан. С палубы виднелась лишь необозримая, тяжело колышущаяся равнина, то зеленая, то серая, изборожденная грядями вспененных волн. Вдали она сливалась с горизонтом, затянутым тучами, и казалась совсем темной.

Местами тучи отражались в воде, и на этом сверкающем жемчужном фоне отчетливо выделялся черный корпус парохода. Обращенный носом к западу, пароход то усердно взбирался на волны, то низвергался в глубину, как будто тонул; минутами он исчезал из виду, а затем снова высоко подымался на гребни валов, так что показывалось его дно, и так шел вперед. Волны неслись к нему, а он несся к волнам и разрезал их грудь. За ним гигантской змеей вилась белая полоса вспененной воды; несколько чаек летало за рулем, кувыркаясь в воздухе с таким же пронзительным криком, как и польские чайки.

Ветер был попутный, пароход распустил паруса и шел на неполных парах. Небо прояснялось. Кое-где между разорванными тучами проглядывали клочки лазури, поминутно менявшие очертания. С тех пор как пароход вышел из гамбургского порта, стояла ветреная погода, но бури не было. Дул сильный западный ветер; минутами он затихал, и тогда паруса опадали и вяло плескались, но вскоре опять надувались и напоминали лебединую шею. Матросы в плотных шерстяных фуфайках тянули канат нижней реи грот-мачты и, протяжно выкрикивая: «Го-го-о!», мерно нагибались и подымались, а голоса их смешивались с завыванием мичманских свистков и прерывистым дыханием трубы, извергающей клубы или кольца черного дыма.

Пользуясь хорошей погодой, пассажиры высыпали на палубу. На корме парохода показались черные пальто и шляпы пассажиров первого класса, у носа пестрела разношерстная толпа эмигрантов, едущих в трюме. Одни сидели на скамьях, покуривая коротенькие трубочки, другие лежали или, опершись о борт, поглядывали вниз на воду.

Было тут и несколько женщин с детьми на руках и жестяными фляжками, привязанными к кушаку, какие-то молодые люди, пошатываясь и спотыкаясь, прохаживались вдоль палубы, с трудом удерживая равновесие. Они громко распевали «Wo ist das deutsche Vaterland?»^[1] и, хотя думали, должно быть, что никогда уже не увидят своего «Vaterland'a», их не покидало веселое настроение. В этой толпе двое были особенно печальны и казались всем чужими: старик и молодая девушка. Оба они не понимали немецкого языка и были действительно одиноки среди чужих. Каждый из нас с первого взгляда угадал бы в них польских крестьян.

Крестьянина звали Вавжон Топорек, а девушка, Марыся, была его дочерью. Они ехали в Америку и сейчас впервые осмелились выйти на палубу. Их лица, изнуренные морской болезнью, выражали страх и удивление. Они испуганно разглядывали своих попутчиков, матросов, пароход, бурно дышавшую трубу и грозные волны, обдающие пеной борта парохода. Они не решались даже разговаривать друг с другом. Вавжон ухватился одной рукой за перила, а другой придерживал свою четырехугольную шапку, боясь, чтобы ее не сорвало ветром; Марыся вцепилась в рукав отца и всякий раз, когда пароход сильнее накренялся, крепче прижималась к нему и тихо вскрикивала от страха. Наконец старик прервал молчание:

– Марыся!

– Что?

– Видишь?

– Вижу!

– А чудно тебе?

– Чудно!

На самом деле ей было страшно, а не чудно, так же как старику. К счастью для них, ветер утих, и сквозь тучи проглянуло солнце. Когда они увидели «ясное солнышко», им стало легче на душе, потому что оба подумали, что «оно точнехонько такое, как в Липшицах». Действительно, все тут было для них ново и незнакомо, и только этот пылающий лучезарный джуж казался им старым, любящим другом.

Тем временем море совсем успокоилось, а немного спустя заполоскали паруса; тогда с высокой рубки раздался свисток капитана, и матросы бросились их убирать. Вид этих людей, словно повисших в воздухе над бездной, поразил Топорека и Марысю.

– Нашим парням так не суметь, – промолвил старик.

– Немцы влезли, так и Ясько влез бы, – возразила Марыся.

– Это какой Ясько – Собков?

– Какое там – Собков. Я про Смоляка говорю, про конюха.

– Что ж, он и вправду хват, а только выкинь ты его из головы. Ни ему до тебя, ни тебе до него дела нет. Ты едешь, чтоб стать барыней, а он как был конюх, так и останется.

– Ну него тоже есть земля!

– Есть, да в Липинцах.

Марыся ничего не ответила, подумав про себя, что от судьбы не уйдешь, и с тоской вздохнула. Между тем матросы убрали паруса, зато винт с такой силой бурлил воду, что весь пароход содрогался. Качка почти совсем прекратилась, и вдали вода уже казалась гладкой и голубой. Из трюма появлялись все новые фигуры: рабочие, немецкие крестьяне, бродяги из разных приморских городов, ехавшие в Америку искать счастья, а не работы. Толпа постепенно заполнила всю палубу, и Вавжон с Марысей, чтобы не лезть никому на глаза, уселись на связке канатов в самом уголке, на носу.

– Отец, а долго нам еще ехать по воде? – спросила Марыся.

– Почем я знаю? Тут кого ни спроси, никто тебе не ответит по-нашему.

– А как же мы будем разговаривать в Америке?

- Да ведь сказывали нам, что нашего народу там тьма-тьмущая!
- Отец!
- Чего тебе?
- Чудно-то тут чудно, а в Липинцах-то все ж таки было лучше.
- Не болтай попусту.

Через минуту, однако, Вавжон прибавил, как бы говоря самому себе:

- На все воля божья!..

У девушки глаза наполнились слезами, и оба стали думать о Липинцах. Вавжон Топорек размышлял о том, для чего он едет в Америку и как это случилось, что он поехал. Как случилось? Да вот летом, всего полгода назад, корову его захватили на чужом поле, засеянном клевером. Хозяин поля потребовал с него за потраву три рубля. Вавжон не хотел дать. Стали судиться. Дело затянулось. Мужик, захвативший корову, требовал уже не только за потраву, но и за прокорм коровы, и долг этот рос с каждым днем. Вавжону жалко было денег, и он упорствовал; тяжба уже влетела ему в копеечку, а дело все тянулось да тянулось, долг рос. Кончилось тем, что Вавжон проиграл в суде. За корову он уже бог весть сколько задолжал, а платить было нечем, вот и забрали у него лошадь, а самого за оказанное сопротивление арестовали. Топорек извивался, как уж; к тому времени как раз подошла жатва – значит, нужны были и руки, и лошадь. Он не успел вовремя свезти хлеб, потом пошли дожди, и рожь проросла в снопах. Увидел Топорек, что из-за одной потравы все его добро пошло прахом: и денег он столько потерял, и скот у него пропал и весь урожай, а к весне придется ему с дочкой либо землю глодать, либо по миру идти.

До тяжбы Вавжон жил в достатке, хозяйство у него ладилось, но после суда он затосковал, а потом и запил. В корчме Вавжон познакомился с немцем, который шатался по окрестным деревням, будто бы скупая лен, а на самом деле подбивая людей ехать за море. Немец рассказывал всякие чудеса про Америку. Земли наобещал больше, чем во всей их деревне, да в придачу еще лес да луга – и все даром. У мужика глаза разгорелись. Он и верил и не верил чужаку, но здешний арендатор тоже говорил, что правительство там дает каждому столько земли, «сколько кто может держать». Он это узнал от своего племянника. А немец показывал деньги, каких не только мужики, но и сам помещик в жизни своей не видывал. Соблазнили мужика, соблазнили и наконец соблазнили. Да и чего ради ему было тут оставаться? Из-за одной потравы он потерял столько, что за эти деньги мог бы целый год держать батрака. Так неужели ему здесь пропадать? Неужели взять палку да суму и на паперти лазаря тянуть? Нет, не бывать этому! Ударил он с немцем по рукам, распродал все свое добро – и вот едет с дочкой в Америку.

Однако путешествие оказалось не таким приятным, как он ожидал. В Гамбурге с них содрали кучу денег, а на пароходе они сидели в трюме. Необъятность океана их пугала, изнуряла качка. Никто их на пароходе не понимал, и они никого не понимали. С ними обращались как с вещами, толкали, точно камни на дороге; немцы-спутники насмехались над ним и над Марысей. В обеденный час, когда все с посудой протискивались к повару, раздававшему пищу, их отталкивали в самый конец, так что не раз они оставались голодными. Худо ему было на этом пароходе: он чувствовал себя чужим и одиноким, однако перед дочерью Вавжон бодрился,

сдвигал шапку набекрень, приказывал Марысе удивляться и всему удивлялся сам, хотя ничему не доверял. Минутами его охватывало опасение, как бы эти «язычники» (так он называл своих попутчиков) не бросили их обоих в воду. А то вдруг заставят переменить веру или велят подписать такую бумагу, что невзначай черту душу продашь!

Даже самый пароход, который днем и ночью шел по беспредельным водным просторам, тряся, гудел, вспенивал воду и дышал, как дракон, а ночью пускал целые клубы огненных искр, вызывая у него подозрение и казался нечистой силой. Эти ребяческие опасения, в которых Топорек не хотел признаться даже перед самим собой, не раз овладевали им; этот польский крестьянин, оторванный от родного гнезда, был действительно настоящим ребенком. Все, что он видел, все, что его окружало, не укладывалось у него в голове, и не удивительно, что теперь, когда он сидел на куче канатов, голова его клонилась под бременем тягостной неуверенности и заботы. Морской ветер шелестел у него в ушах и как бы повторял: «Липинцы! Липинцы!» Иногда этот ветер свистел, как липинецкая дудка. Солнце тоже говорило: «Как ты там, Вавжон? Я сейчас светило в Липинцах». А винт все сильнее бурлил воду, труба дышала все громче и громче, точно два злых духа, которые тащили его все дальше и дальше от Липинцев.

А между тем Марысю не покидали иные мысли, и воспоминания неотступно неслись за нею, как эти чайки или пенистая дорожка за пароходом. Вспомнилось ей, как осенью поздним вечером, незадолго до отъезда, она пошла к колодцу за водой. На небе уже мерцали первые звезды, а она тащила из колодца полное ведро и пела: «Ясек лошадей поил – Кася за водою шла», и ей почему-то было так тоскливо, словно ласточке, что жалобно поет, улетаая в далекие края. Потом в темноте в лесу протяжно заиграла свирель: это Ясько Смоляк, конюх, давал ей знать, что видит, как склонился журавль у колодца, и что сейчас он придет. И действительно, вскоре послышался топот, Ясь подъехал к колодцу, соскочил с жеребца, потряхнул густыми вихрами, а речи его вспоминались ей теперь, словно музыка. Марыся закрыла глаза, и чудилось ей, что Смоляк опять шепчет дрожащим голосом:

– Раз уж так уперся твой старик, я отдам пану задаток, продам избу, продам все хозяйство и поеду... Слышишь, Мары-

ся, – говорил он, – куда ты поедешь, там и я буду, журавлем полечу по небу, селезнем поплыву по воде, -перстнем золотым покачусь по дороге, а найду тебя, моя ненаглядная. Какая же мне жизнь без тебя? Куда ты пойдешь, туда и я пойду, что тебе суждено, то и мне суждено, одна нам жизнь и одна смерть! И как обещался я тут тебе, так пусть бог меня оставит, если я тебя оставлю, Марыся моя любая.

Вспоминая эти слова, Марыся видела и колодец, и большой красивый месяц над лесом, и Яся, как живого. Эти думы утешили и облегчили ей душу. Ясек был парень твердый и упорный, и Марыся верила, что как он сказал, так и сделает. Только хотела бы она, чтобы он сейчас был с ней и вместе с нею слушал, как шумит море. С ним ей было бы веселей и не так страшно, потому что он никого не боялся и нигде не робел. Что-то он теперь делает в Липинцах? Там уже, наверно, выпал снег. В лес ли поехал за дровами или лошадей чистит, а может, барин его куда-нибудь послал и велел прорубь рубить в пруду? Где-то он теперь, сердечный? И ей сразу представились Липинцы, какими они были: скрипучий снег на дороге, заря, алеющая сквозь черные голые ветви, стаи ворон, носящиеся с карканьем от леса к деревне, дым, поднимающийся из труб, замерзший журавль возле колодца, а вдаль лес, окутанный снегом и розовеющий в лучах зари.

Эх, где же она теперь, куда занесла ее воля отцовская! Кругом вода, вода, зеленоватые борозды и пенистые гряды, а на этой бескрайней водной равнине только один их пароход, словно заблудившаяся птица. Вверху небо, внизу пучина, грозно шумит океан, свистит ветер, и словно плачут волны, а впереди, далеко-далеко, должно быть, край света.

Бедный Ясек, найдешь ли ты к пей дорогу, полетишь ли соколом по небу, поплывешь ли рыбой по воде, думаешь ли ты в Липинцах о своей Марысе?

Между тем солнце медленно склонялось к западу, погружаясь в океан. На водной глади, покрытой, словно золотой чешуей, мелкой рябью, пролегла широкая солнечная дорога; она горела, ослепительно: сверкала, переливаясь всевозможными красками, и терялась где-то вдалеке. Пароход, попав в эту огненную полосу, казалось, гнался за убегающим солнцем. Дым, вырывающийся из трубы, стал красным, паруса и покрытые влагой канаты – розовыми; матросы затаили песню, а тем временем лучезарный диск становился все больше и все ниже опускался в океан. Вскоре над волнами виднелась уже половина диска, потом только лучи, а потом на западе по всему небосклону разлилась багряная заря, и в этом сиянии уже нельзя было различить, где кончаются волны и где начинается небо; розовый свет, одинаково озарявший воду и небо, постепенно угасал, океан мерно и мягко роптал, словно творил вечернюю молитву. В такие минуты душа становится крылатой, оживают воспоминания; то, что любишь, – любишь тогда горячее, сильнее стремишься к тому, о ком тоскуешь. Вавжон и Марыся чувствовали оба, что они теперь – словно сорванные листья, несомые ветром, а родимое их дерево растет все же не в той стороне, куда они ехали, а в той, которую они покинули, – в родной польской земле. Родина! Она – благо, вся покрытая колыхающимися нивами, лугами, нежно-золотистыми от одуванчиков, заросшая лесами, испещренная соломенными крышами; в ней есть и ласточки, и аисты, и придорожные кресты, и белые домики среди лип. Родина! Низкий поклон тебе: «Слава Иисусу», а она отвечает: «Во веки веков». Она – могучая, она – иежная мать, такая ласковая, самая любимая на свете. И то, что их простые крестьянские сердца не чувствовали раньше, они почувствовали теперь. Вавжон снял шапку, закатные лучи упали на его сидящие волосы. Бедняк не знал, как объяснить Марысе то, о чем он неустанно думал. Наконец он сказал:

– Марысь, мне все сдается, что там, дома, за морем, у нас что-то осталось.

– Судьба наша и любовь наша там остались, – тихо ответила девушка, подняв к небу глаза.

Наконец совсем стемнело, пассажиры стали расходиться с палубы, однако на пароходе поднялось необычайное движение. После такого заката ночью часто наступает буря, поэтому то и дело раздавалась команда и матросы тянули канаты. Последние пурпурные лучи угасли в море, и тотчас из воды поднялся туман, звезды загорелись и исчезли. Туман сгущался, застилая небо, горизонт и даже пароход. Можно было разглядеть только трубу и грот-мачту; фигуры моряков казались тенями. Час спустя все скрылось в беловатом тумане – даже фонарь, висевший на верхушке мачты, даже искры, вылетающие из трубы.

Пароход совсем не качало, как будто волны, обессилев, разлились под тяжестью тумана.

Надвигалась тихая, поистине глухая ночь. Внезапно среди этой тишины откуда-то с самого далекого края горизонта донесся странный шум, словно тяжелое дыхание

какой-то гигантской груди; оно приближалось и становилось все громче. Порою чудилось, будто кто-то зовет из темноты, потом слышался целый хор протяжных, как бы плачущих голосов. Голоса эти лились прямо из темноты и бесконечности.

Матросы, услышав такие голоса, уверяют, что это буря вызывает ветер из ада.

Шум становился все отчетливее. Капитан в резиновом плаще с капюшоном вышел на мостик, дежурный офицер занял место перед освещенным компасом. На палубе уже не было никого из пассажиров. Вавжон и Марыся вслед за другими спустились в трюм. Здесь было тихо. Лампы, укрепленные на низком потолке, бросали тусклый свет, в котором едва видны были люди, усевшиеся кучками возле коек. Трюм был большой, но сумрачный, как всегда помещения четвертого класса. Потолок почти соприкасался с бортами парохода, койки, разделенные перегородками, напоминали скорее темные норы, чем кровати, да и весь трюм производил впечатление громадного погреба. Воздух был пропитан запахом просмоленной парусины, корабельных канатов, гнилых водорослей и сырости. Можно ли было сравнивать это помещение с роскошными салонами первого класса! Достаточно было двухнедельного переезда в таком помещении, чтобы отравить легкие зараженным воздухом, получить отечную бледность и даже заболеть цингой. Вавжон с дочкой ехали всего четыре дня, но уже и сейчас никто бы не узнал прежнюю, пышущую здоровьем липинецкую Марысю в этой бледной девушке, изнуренной морской болезнью. Старый Вавжон тоже пожелтел, как воск; в первые дни путешествия они совсем не выходили на палубу, полагая, что это не разрешается. Да разве они знали, что разрешается, что воспрещается? Они тут вообще не смели шевельнуться, да и боялись отойти от своих вещей. Теперь, правда, сидели возле своих пожитков не только они, но и другие пассажиры. Узлами эмигрантов был завален весь трюм, что еще усугубляло беспорядок и мрачный вид этого помещения. Постель, одежда, съестные припасы, рабочие инструменты и жестяная посуда – все вперемежку лежало кучками на полу. На узлах сидели эмигранты, преимущественно немцы. Одни жевали табак, другие курили трубки, клубы дыма длинными полосами тянулись под низким потолком, застилая свет. По углам плакали дети, но обычный здесь шум затих; туман всех встревожил, наполнив сердца унынием и страхом. Более опытные пассажиры знали, что он предвещает бурю. Ни для кого, впрочем, уже не было тайной, что надвигается опасность, а может быть, и смерть. Только Вавжон и Марыся ни о чем не догадывались, хотя, когда открывалась дверь, явственно слышался далекий зловещий шум.

Они сидели в глубине трюма, в самом узком месте носовой части. Качка там ощущалась сильнее, а потому попутчики загнали их туда. Старик достал хлеб, который вез еще из деревни, и принялся закусывать, а девушка со скуки заплетала на ночь косы.

Однако необычная тишина, прерываемая только плачем детей, начала ее тревожить.

– Отчего это немцы нынче притихли? – спросила она.

– Почему я знаю? – по обыкновению, ответил Вавжон. – Праздник у них, что ли, какой или еще что...

Вдруг пароход тряхнуло так, словно он вздрогнул пред чем-то страшным; жестяная посуда жалобно звякнула, огонь в лампах вспыхнул и загорелся ярче, слышались испуганные голоса.

– Что случилось? Что случилось?

Но ответа не было. Второй толчок, сильнее прежнего, рванул пароход, его нос внезапно поднялся и так же внезапно опустился; одновременно волна глухо ударила в круглые окна левого борта.

– Буря идет! – в ужасе прошептала Марыся.

Между тем вокруг парохода что-то зашумело, как лес, по которому внезапно пронесся вихрь, и завывало, как стая волков. Ветер ударил еще и еще раз, накренил пароход, потом закружил его, поднял па гребень вала и бросил в бездну. Судно скрипело, жестяная посуда, узлы, корзины и баулы скользили по полу, перекатываясь из угла в угол. Несколько человек упало на землю; из чьей-то подушки посыпались перья и разлетелись по трюму, стекла в лампах жалобно зазвенели.

Раздался шум, грохот, плеск воды, хлынувшей на палубу, крик женщин, плач детей, беготня, и среди этой сумятицы и хаоса слышались пронзительные свистки да глухой топот матросов, бегающих по верхней палубе.

– Пресвятая дева Ченстоховская! – шептала Марыся.

Нос корабля, где она сидела с отцом, то взлетал вверх, то обрушивался вниз, словно обезумев. Они крепко вцепились в края коек, тем не менее их так кидало, что они поминутно ударялись о стены. Волны ревели все громче, потолок скрипел и трещал; казалось, вот-вот балки и доски разлетятся вдребезги.

– Держись, Марыся! – кричал Вавжон, стараясь перекричать бурю, но ужас сдавил ему горло, как и другим пассажирам. Дети перестали плакать, женщины кричать; все только учащенно дышали, с усилием держась за предметы, прикрепленные к полу.

Ярость бури все возрастала. Стихия разбушевалась, туман смешался с ночным мраком, тучи – с водой, вихрь – с пеной. Волны с грохотом бились о корабль, швыряли его из стороны в сторону, то подбрасывая его ввысь, то низвергая чуть не до дна морского.

Лампы в трюме одна за другой гасли. Становилось все темнее, и Вавжону с Марысей казалось, что это уже предсмертный мрак.

– Марыся! – начал, задыхаясь, Вавжон прерывающимся голосом. – Прости, дочка, что увез я тебя из деревни па погибель. Пришел наш последний час. Не смотреть уж нам грешными глазами на божий мир, не исповедаться нам, не причаститься, не почаем мы в родной земле, а из воды пойдём на Страшный суд.

Услышав это, Марыся поняла, что спасения уже нет. Обрывки мыслей проносились у нее в голове, а в душе что-то кричало: «Ясен, Ясек, мой любимый, слышишь ли ты меня в Липинцах?»

Страшная тоска сжала ей сердце, она громко заплакала. Рыдания ее разносились по темному трюму, где все молчали, как па похоронах. Кто-то крикнул из угла: «Тихо!», но умолк, словно испугавшись собственного голоса. Между тем упало стекло еще с одной лампы, и она погасла. Стало еще темнее. Люди сбились в один угол, чтобы быть поближе друг к другу. Всюду царило тревожное молчание, как вдруг среди этой тишины раздался голос Вавжона:

– Kyrie eleison!

– Christe eleison! – рыдая, отвечала Марыся.

– Господи, услышь нас! Отец небесный! – молились они.

В темноте голоса их, прерываемые рыданиями девушки, производили странно торжественное впечатление. Многие обнажили головы. Мало-помалу девушка перестала плакать, голоса обоих стали спокойнее, чище и все отчетливее звучали под завывание бури.

Вдруг у входа раздался крик. Налетевшая волна вышибла дверь и хлынула в трюм; вода с плеском растекалась по углам; с громкими воплями женщины бросились к койкам. Всем казалось, что это уже конец.

Через минуту вошел дежурный офицер с фонарем в руке, весь мокрый и красный от ветра. Несколькими словами он успокоил женщин, объяснив им, что вода проникла в трюм случайно и что в открытом море опасность вообще невелика.

Прошло часа два или три. Океан бушевал все неистовее. Пароход скрипел, зарывался носом по самую палубу, ложился то на один бок, то на другой, но не тонул. Мало-помалу пассажиры стали успокаиваться; некоторые даже улеглись спать. Прошло еще несколько часов, в темный трюм сквозь верхнее зарешеченное окошко просочился серый свет. На океане наступил день, бледный, точно испуганный, печальный и сумрачный, но все же он принес какую-то бодрость и надежду. Прочитав все молитвы, какие они только вспомнили, Вавжон и Марыся влезли на свои койки и крепко уснули.

Разбудил их звонок к завтраку. Но есть они не могли. Головы у них отяжелели, точно налитые свинцом; старик чувствовал себя еще хуже, чем его дочь. В его одурманенной бурей голове теперь уже ничего не укладывалось. Правда, немец, заманивший его в Америку, говорил, что ехать нужно морем, но Вавжон никак не думал, что оно так велико и что путешествие продлится столько дней и ночей. Он представлял себе, что переедет на пароме, как переезжал уже не раз в своей жизни. Если бы он знал, что море так огромно, то ни за что не поддавался бы уговорам немца и остался бы в Липницах. Мучила его еще одна мысль: не обрел ли он свою и Марысину души на погибель? Не грешно ли католику из Липинцев искушать господа бога, пускаясь в это страшное море, по которому они едут вот уже пятый день и никак не доедут до другого берега, если только есть на той стороне какой-нибудь берег. Буря стала понемногу стихать лишь через сорок восемь часов, но сомнения и страх терзали его еще семеро суток. Наконец он решился снова выйти с Марысей на палубу, однако когда они увидели бурное, потемневшее и как будто разгневанное море, когда увидели водяные горы, надвигающиеся на судно, и бездонные движущиеся долины, то опять подумали, что разве только десница господня или какая-нибудь иная, но не человеческая, сила спасет их от этой пучины.

Постепенно, однако, погода улучшилась. Но дни шли задними, а вокруг по-прежнему была видна только вода, вода без края и конца, то зеленая, то голубая, сливавшаяся с небом. По небу порой проносились в вышине маленькие светлые тучки; к вечеру они краснели и укладывались спать где-то на западе. Корабль гнался за ними по воде. Вавжон на самом деле уже стал подумывать, что морю так и не будет конца; он собрался с духом и решил спросить сведущих людей.

Однажды, увидев проходившего мимо матроса, Вавжон смиренно снял шапку и,

поклонившись ему в ноги, спросил:

– Скажите, сделайте милость, что, скоро мы доберемся до перевоза?

О чудо! Матрос не прыснул со смеху, остановился и молча выслушал. По его обветренному красному лицу было видно, что он силится что-то вспомнить и собраться с мыслями. Наконец он спросил по-немецки:

– Was?[2]

– Скоро мы доберемся до земли?

– Два дня, два дня! – с трудом произнес матрос, одновременно показывая два пальца.

– Покорно благодарю.

– Откуда вы?

– Из Липинец.

– Was ist das Lipiniec?[3]

Как раз в эту минуту подошла Марыся; она сильно покраснела, но, робко взглянув на матроса, сказала тоненьким голоском, каким обычно говорят деревенские девушки: – Мы из-под Познани.

Матрос задумчиво разглядывал большой медный гвоздь, вбитый в борт парохода, потом поднял глаза на девушку, на ее светлые, как лен, волосы, и слабая, как будто умиленная улыбка скользнула по его обветренному лицу.

– Я был в Гданьске... – сказал он серьезно, – и понимаю по-польски... Я кашуб... ваш Bruder[4], но это давно было! Jetzt ich bin Deutsch...[5]

Он отвернулся, поднял конец каната, который обронил во время разговора, и, крикнув по-матросски: «Го-го-о!», стал его тянуть.

С этой минуты всякий раз, встречая Вавжона и Марысю на палубе, матрос дружелюбно улыбался Марысе. Они тоже радовались, что нашли на этом немецком пароходе хоть одну живую душу, расположенную к ним. Впрочем, путешествие уже подходило к концу. На другое утро, когда они вышли на палубу, их поразило странное зрелище. Вдали, в открытом море, что-то покачивалось на волнах; когда пароход приблизился к этому предмету, оказалось, что это большая красная бочка, дальше виднелась вторая, за ней третья, четвертая. Над водой поднимался легкий серебристый туман; море затихло, и на зеркальной глади, куда ни кинешь взгляд, плавно колыхались красные бочки. С пронзительным криком тучей летели за пароходом чернокрылые птицы. На палубе поднялось необычное движение. Матросы надели новые фуфайки; одни мыли палубу, другие начищали металлические крепления бортов и рамы иллюминаторов, на мачте вывесили один флаг, на корме парохода другой, побольше.

Оживление и радость охватили всех; старый и малый – все высыпали на палубу; многие уже выносили наверх свои узлы и стягивали их ремнями.

При виде этих приготовлений Марыся сказала:

– Никак, подъезжаем.

И она, и старик приободрились. Но вот на западе показался сначала какой-то остров, за ним другой, посреди которого стояло большое здание, а вдали виднелся не то густой туман, не то туча, а может быть, дым – словом, что-то смутное, неясное, бесформенное... При виде всего этого на палубе все зашумели, заволновались, стали показывать на что-то руками, пароход пронзительно засвистел, словно тоже радовался.

– Что это такое? – спрашивал Вавжон.

– Нью-Йорк, – ответил стоявший рядом с ними матрос-кашуб.

Но вот туман стал рассеиваться и наконец совсем растаял. По мере того как пароход разрезал серебристую воду, постепенно все яснее обрисовывались на голубом фоне очертания домов, остроконечные колокольни, высокие фабричные трубы, а над ними столбы дыма, поднимавшиеся к небу густыми клубами. Впереди высился целый лес мачт, а на их верхушках пестрели тысячи разноцветных флагов и при каждом дуновении ветерка колыхались, как цветы на лугу. Пароход подходил все ближе и ближе, город, казалось, выступал перед ним из воды. Восторг и изумление охватили Вавжона; он снял шапку и, разинув рот, смотрел не отрываясь, потом, обернувшись к дочери, промолвил:

– Марыся!

– О боже мой!

– Видишь?

– Вижу.

– А ведь чудно!

– Чудно!

Однако Вавжон не только изумлялся, но и жаждал поскорее добраться до земли. Увидев зеленые берега и темные ленты парков, он обрадовался:

– Ну, слава богу! Слава богу! Лишь бы дали земли поближе к городу, вон с тем лужком, чтобы на базар недалеко ездить.

Будет ярмарка, погонишь корову иль свинью, тут сразу и продашь. А народу здесь видимо-невидимо. Был я в Польше мужиком – и хватит, а тут буду баринком... – В эту минуту перед глазами его открылся во всю длину великолепный Национальный парк. Вавжон, увидев роскошные деревья, сказал:

– Поклонюсь я низенько вельможному комиссару и скажу ему честь по чести, чтоб подарил мне хоть несколько десятин этого лесу. Уж коли поместье, так поместье. Утречком пошлю в город батрака с дровами. Слава тебе господи, теперь я и сам вижу, что немец меня не надул.

Марысе тоже улыбалась мысль о барстве, и ей почему-то пришла в голову песенка, которую в Липипцах невесты пели на свадьбах жениху:

Что же ты за паи?
Что же ты за пан?
Все твое наследство –
Шапка да жупан.

Быть может, она уже собиралась запеть что-то вроде этого бедному Яську, когда он приедет за ней, а она будет помещицей...

Между тем из карантина летел маленький пароходик. Человек пять или шесть поднялись на палубу. Послышались оживленные разговоры, восклицания. Вскоре подошел второй пароход, уже из города, на нем приехали агенты из отелей и гостиниц, комиссионеры, гиды, менялы и железнодорожные агенты; все они отчаянно кричали, толкались, шныряли по палубе. Вавжон и Марыся попали словно в водоворот и не знали, что делать.

Кашуб посоветовал старику обменять деньги и обещал присмотреть, чтоб его не обманули. Вавжон так и сделал. За все свои наличные он получил сорок семь долларов серебром. Тем временем пароход настолько приблизился к городу, что видны были уже не только дома, но и люди, стоявшие на набережной. Наконец пароход, пройдя мимо множества больших и малых судов, вошел в узкий портовый док.

Путешествие кончилось.

Люди высыпали с парохода, как пчелы из улья. По узким сходням, перекинутым на берег, потянулась разношерстная толпа: сначала пассажиры первого класса, затем второго и напоследок пассажиры трюма, нагруженные корзинами и узлами. Когда Вавжон и Марыся подошли к выходу, у сходней их ждал кашуб. Он крепко пожал руку Вавжону и сказал:

– Брудер! Желаю тебе глюк![6] И тебе, девушка. Да поможет вам бог!

– Да наградит тебя бог! – ответили оба, но попрощаться как следует не успели; толпа увлекла их за собой, и через минуту они очутились в обширном здании таможни.

Таможенный чиновник в сером сюртуке с серебряной звездой ощупал их вещи, потом крикнул: «В порядке!» – и указал на выход. Они вышли и очутились на улице.

– Отец, а что же мы теперь будем делать? – спросила Марыся.

– Ждать будем. Немец сказал, что, как приедем, сейчас придет сюда комиссар от правительства и спросит про нас.

В ожидании комиссара они стали у стены. Вокруг шумел огромный неведомый город. Они никогда не видели ничего подобного. Во все стороны тянулись улицы, прямые, широкие, а по ним валили толпы народа, как на ярмарке; посреди улиц ехали кареты, omnibusы, нагруженные телеги. Кругом слышалась странная, незнакомая речь; раздавались крики рабочих и торговцев. То и дело мимо них проходили люди, совершенно черные, с большими курчавыми головами. При виде их Вавжон и Марыся набожно крестились. Чудным казался им этот большой шумный город; они испуганно разглядывали его, оглушенные свистом паровозов, грохотом колес, громкими

восклицаниями. Все бежали так быстро, точно гнались за кем-то или от кого-то скрывались. И какое множество народу! Какие странные лица: то черные, то оливковые, то красноватые. Как раз там, где они стояли, у входа в порт, движение было особенно оживленное: одни суда разгружались, другие грузились, поминутно подъезжали возы, гулко гроыхали тачки по сходням, грохот и шум стоял, как на лесопильне.

Так прошел час, другой, а они, стоя у стены, все еще ждали комиссара.

Странно выглядели на американской земле в Нью-Йорке этот польский крестьянин с длинными седеющими волосами, выбивающимися из-под четырехугольной барашковой шапки, и эта девушка из Липинец в темно-синем казакине, с бусами на шее.

Однако люди проходили мимо, даже не замечая их. Там не удивляются никаким лицам и никаким костюмам.

Прошел еще час, небо заволокло тучами, пошел дождь, смешанный со снегом; с моря подул холодный сырой ветер...

А они все еще стояли в ожидании комиссара.

Крестьянская натура терпелива, однако и у них стало тяжело на душе.

Одиноко было на на пароходе, среди чужих людей и водной пустыни, одиноко и страшно. Они молились богу, чтобы он провел их, как заблудившихся детей, через пучину морскую, и надеялись, что, как только выйдут на берег, так сразу и кончатся их бедствия. Но вот они приехали в большой город и здесь, среди людского шума, испытывали еще большее одиночество и страх, чем на пароходе.

Комиссар не приходил. Что же им делать, если он вовсе не придет, если немец их обманул?

При этой мысли тревожно забились их бедные крестьянские сердца. Как же тогда им быть? Ведь пропадут они, просто пропадут.

А пока их пронизывал насквозь ветер и мочил дождь.

– Марыся, не холодно тебе? – спросил Вавжон.

– Холодно, отец, – ответила девушка.

Прошел еще час. Смеркалось. Движение в порту постепенно затихло; на улицах зажглись фонари; весь город запылал морем огней. Портовые рабочие хриплыми голосами пели «Янки Дудл» и то большими, то маленькими группами направлялись в город. Мало-помалу набережная совсем опустела, сторожа заперли здание таможи.

А они все еще ждали комиссара.

Наконец настала ночь, и в порту воцарилась тишина. Только время от времени черные трубы пароходов с шипением выбрасывали целые снопы искр и они гасли в темноте да волна с плеском ударяла в каменную набережную. Иногда доносилась песня пьяного матроса, возвращающегося на корабль. Фонари тускло горели в поднявшемся тумане. А они все еще ждали.

Да если бы они и не хотели ждать, куда им было идти, что делать, к кому обратиться, где приклонить измученные головы? Холод пронизывал их до костей, к тому же они и проголодались. Хоть бы укрыться где-нибудь под крышей, а то они промокли до нитки. Нет! Не пришел комиссар и не придет, потому что таких комиссаров и на свете нет. А немец тот был агентом акционерного общества по перевозке эмигрантов, получал процент за каждого доставленного человека и ничего больше знать не хотел.

У Вавжона ноги подкашивались, он почувствовал страшную тяжесть, которая обрушилась на него и давила к земле, будто над ним разразился гнев божий.

Он страдал и терпеливо ждал, как способен ждать только крестьянин.

Голос дочери, дрожавшей от холода, заставил его очнуться:

– Отец!

– Молчи, Марыся!.. Некому нас пожалеть!

– Вернемся в Липинцы...

– Иди утопись...

– Боже мой, боже! – тихо шептала Марыся.

Вавжона охватила жалость к дочери:

– Сиротка ты моя бедная!.. Хоть бы над тобой смиловался господь...

Но Марыся его не слышала. Прикинув головой к стене, она закрыла глаза и уснула тяжелым, горячечным, часто прерывающимся сном. Ей снились родные Липинцы и как будто песенка конюха Яська:

Что же ты за пани?

Что же ты за пани?

Все твое наследство –

Венок из тимьяна.

Первые солнечные лучи в нью-йоркском порту озарили воду, мачты и здание таможни.

На этом сером фоне можно было различить двух спящих у стены людей с бледными, посиневшими лицами, припорошенных снегом и неподвижных, как мертвецы.

Но в книге их бедствий раскрылись только первые страницы, о дальнейшем мы расскажем в следующих главах.

II

В Нью-Йорке

Спускаясь по широкому проспекту Бродвей к порту по направлению к Чаттам-сквер и пройдя с десяток прилегающих к нему улиц, путешественник попадет в бедную, грязную и мрачную часть города. Улицы становятся уже. Дома, построенные, быть может, еще голландскими поселенцами, с течением времени покосились, крыши провалились, штукатурка осыпалась, а стены настолько осели, что окна подвальных

этажей верхним краем едва выступают над уровнем мостовой. Вместо излюбленных в Америке прямых улиц здесь разбегаются во все стороны кривые закоулки. Дома то низенькие, то повыше разбросаны как попало и покрыты старыми выщербленными черепицами.

Вследствие низменного расположения и близости к морю лужи в этой части города на улицах почти никогда не высыхают, а маленькие, тесно застроенные площади напоминают пруды с черной густой стоячей водой. Окна обветшалых домов угрюмо отражаются в этой гнилой воде, поверхность которой пестрит клочьями бумаги, картона, кусками стекла, дерева и жести от сломанных корабельных ящиков; таким же мусором завалены все улицы, или, вернее, весь слой нечистот, которыми они покрыты. Везде тут беспорядок, нищета и грязь.

В этой-то части города находятся постоянные дворы, в которых за два доллара в неделю можно получить ночлег и питание. Здесь же ютятся харчевни, в которых владельцы китобойных судов вербуют для себя всяких бродяг, а подпольные агенты – венесуэльские, бразильские, эквадорские и другие – занимаются подыскиванием людей для колонизации экватора и обеспечиванием лихорадки достаточным количеством жертв. Тут имеются кухмистерские, питающие своих посетителей солониной, протухшими устрицами и рыбой, которую, наверно, сама вода выбросила на песок, тайные дома, где играют в кости, китайские прачечные, сомнительные номера для матросов и, наконец, притоны, где царят преступление, нищета, голод и слезы.

Тем не менее эта часть города всегда оживлена, так как эмигранты, которые не находят даже временного прибежища в бараках и не хотят или не могут идти в так называемые «working houses», или работные дома, попадают сюда, здесь живут и умирают. С другой стороны, если эмигрантов можно назвать накипью европейских народов, то обитателей этих трущоб можно назвать накипью эмиграции. Эти люди обычно бездельничают – или вследствие отсутствия работы, или по собственной лени. Поэтому ночами здесь раздаются выстрелы из револьверов, крики о помощи, хриплые яростные вопли, песни пьяных ирландцев, вой дерущихся негров. Днем на улицах собираются кучками бродяги в оборванных шляпах, с трубками в зубах, которые наблюдают кулачные бои, причем бьются об заклад от одного до пяти центов за каждый выбитый глаз. Дети белых и маленькие негрятя с курчавыми волосами не учатся в школе, а шатаются по улицам, стуча – вместо шпаг – обломками воловьих ребер, разыскивая в мусоре остатки овощей, апельсинов и бананов; исхудалые ирландки просят милостыню у случайно забредших туда прилично одетых прохожих.

Вот в такой-то человеческой геенне мы находим наших старых знакомых – Вавжона Топорека и его дочь Марысю. Поместье, которое они надеялись получить, оказалось сном и, как сон, рассеялось, а действительность предстала перед ними в виде маленькой комнатухи в подвале, с одним окном, зияющим выбитыми стеклами. Почерневшие стены покрыты плесенью и сыростью, у окна стоит заржавевшая дырявая железная печка, подле нее колченогий столик; в углу валяется охапка ячменной соломы, которая заменяет постель. Вот и все.

Старый Вавжон, присев у печки, ищет, не осталось ли в остывшей золе хоть одной картофелины, и поминутно, но, увя, тщетно возобновляет эти поиски... вот уже второй день. Марыся, обхватив руками колени, сидит на соломе, уставясь неподвижным взглядом в пол. Она изнурена голодом и больна. Это как будто та же Марыся, но ее прежде румяные щеки побледнели и глубоко впали. От голода, спертого воздуха и огорчений лицо у нее осунулось и стало болезненным. Питались они одним картофелем, но уже два дня, как и картофеля не стало. Теперь они

окончательно растерялись и не знали, что делать и чем жить дальше. Вот уже третий месяц, как они живут в этой яме без работы и без денег. Старый Вавжон пытался было искать работу, но никто не мог понять, что ему нужно; ходил он в порт таскать тюки и грузить уголь на пароходы, по, к несчастью, у него не было тачки, да, впрочем, ирландцы сразу подбили ему глаз; хотел поработать топором па постройке доков – ему снова подбили глаз. Да и какой это работник, раз он не понимает, что ему говорят? Куда он ни совался, за что ни брался, куда ни шел – всюду над ним смеялись, толкали его, били, прогоняли. Так он ничего и не нашел, нигде гроша не мог заработать, ни выпросить. Волосы у него побелели от горя, надежда угасла, деньги кончились, и наступил голод.

На родине, среди своих, если б даже он все потерял, если бы его постигла болезнь, если бы дети выгнали его из избы, – взял бы он клюку, надел нищенскую суму, стал бы у придорожного креста или на паперти костела – и затянул бы лазаря. Бария проехал бы мимо, дал бы пятак; барыня из коляски послала бы ребенка с денежкой в розовой ручонке; и ребенок, вглядываясь в деда широко раскрытыми глазами, подал бы ему милостыньку, крестьянин дал бы полкаравая хлеба, баба тоже подала бы кусочек сала – и можно было бы жить, как птице небесной, которая не сеет и не жнет. И притом когда бы он так вот стоял, крест над ним был бы как раскинутые руки, а вверху было бы небо, а вокруг поля, и в этой деревенской тиши господь бог услышал бы его молитвы. А здесь, в этом городе, что-то так страшно гудело, словно в какой-то громадной машине; здесь каждый рвался вперед и думал только о себе, а чужой беды никто не замечал. Здесь просто голова шла кругом, опускались руки, глаза не могли охватить всего, что видели, одна мысль не могла догнать другую. Все здесь было так странно, чуждо, все куда-то стремились, отталкивая других, и каждый, кто не умел попасть в этот круговорот, должен был отлететь в сторону и разбиться, как глиняный горшок.

Что и говорить, разница громадная: в тихих Липинцах Вавжон был хозяином и гласным волостного суда; у него там была земля, его уважали люди, и обедал он каждый день; по воскресеньям он со свечой к алтарю выходил, а здесь он был последний человек, как приبلудный пес на чужом дворе, робкий, съезжившийся и голодный. В первые дни бедствия у него часто мелькала мысль, что в Липинцах было лучше. Совесть роптала: «Вавжон, зачем ты оставил Липинцы?» Зачем? Да затем, что бог его оставил. Нес бы он свой крест и терпел, если бы хоть вдаль был виден конец его крестному пути, но, увы, он знал, что каждый день будет все более суровым испытанием, и каждое утро солнце осветит еще большую нищету его и дочери. Так что же? Неужели ему только и остается ссучить веревку, помолиться и повеситься? Он-то не боится смерти, не закрывает глаз перед нею, но что будет с дочерью? Думая об этом, он чувствовал, что его не только оставил бог, но ум оставляет. Не было никакого просвета в окружающем его мраке, а самого большого страдания он не смел даже назвать.

Этим самым большим страданием была тоска по Липинцам. Она терзала его днем и ночью, и терзала тем страшнее, что Вавжон не знал, что это такое, чего ему надо, к чему рвется его душа, изнывая от муки; а ему нужен был сосновый лес, нужны были поля, крытые соломой хаты и близкие, знакомые люди – все то, над чем простирается родное небо и к чему сердце уж как прильнет, так и не оторвется, а если оторвется, то истекает кровью. Чувствовал он, будто что-то давит его к земле. Порой он готов был рвать на себе волосы и биться головой об стену, или броситься на землю и выть, как пес на цепи, или звать кого-то на помощь, но кого – он и сам не знал. Вот уже сгибается он под этим неведомым бременем, вот уже падает, а тут чужой город все гудит, гудит; стонет и Вавжон, взывает к Христу, а тут и креста нигде нет, никто не отвечает, только город все гудит, гудит, а там,

на соломе, сидит голодная дочь, уставясь глазами в землю, и молча страдает. Странное дело! Они почти не расставались: сидят, бывало, по целым дням вместе и даже словом не обмолвятся, будто затаили обиду друг против друга. Худо и тяжело им было так жить, но о чем им было говорить? Не о том ли, что нет уже ни монетки в кармане, ни картофелины в печке, ни мысли в голове?.. Не надо беречь сочащиеся раны.

Помощи они ни от кого не имели. Поляков в Нью-Йорке очень много, но никто из более-менее состоятельных не живет в этом районе. Неделю спустя после приезда они, правда, познакомились с двумя польскими семьями: одной – из Силезии, другой – из Познани, но те и сами умирали с голоду. У силезцев умерло уже двое детей, а третий ребенок хворал и вот уже две недели спал вместе с родителями под мостом; питались же они только тем, что находили на улицах. Потом их забрали в больницу, и неизвестно, что с ними случилось. Другой семье тоже жилось плохо, пожалуй, даже еще хуже, так как глава семьи пил; Марыся, пока могла, помогала его жене, но теперь и сама нуждалась в помощи.

Правда, они могли бы обратиться в польский костел. Ксендз, по крайней мере, сообщил бы о них своим прихожанам, но откуда ж им было знать, что здесь существует костел или польский ксендз; разве могли они с кем-нибудь поговорить, что-нибудь разузнать? Таким образом, каждый потраченный цент был для них как бы ступенью лестницы, ведущей в бездну нищеты.

И так они молча сидели – он у печки, она на соломе. Прошел час, другой. В комнате становилось все темнее; был еще день, но с моря поднялся туман, тяжелый и пронизывающий, как всегда весенней порой. На улице уже было тепло, а здесь, в этой комнате, оба они дрожали от холода; наконец Вавжон отчаялся найти что-нибудь в остывшей золе.

– Марыся, – проговорил он, – мне уже немоготу стало, да и ты замучилась, пойду к морю щепок наберу; хоть печку затопим, а может, и найду что из еды.

Она ничего не ответила, и старик ушел. Вавжон научился уже ходить в порт и вылавливать обломки досок от ящиков, выброшенных с пароходов, которые выносила на берег вода. Так делают все, кому не на что купить уголь. Иной раз при этой ловле его угощали пинками, а иной раз обходилось благополучно; случалось, что он находил и какие-нибудь объедки или остатки прогнивших овощей, выброшенных с судов. А главное, бродя в тумане в поисках неведомо чего, минутами он даже забывал о своих бедствиях и о той тоске, которая мучила его больше всего. Когда он пришел к морю, было время ленча, и на берегу оставалось только несколько мальчишек; они, правда, сразу же подняли крик, стали бросать в него комками грязи и ракушками, но поколотить его не могли. На воде колыхалось много дощечек, волны то прибивали их к берегу, то уносили вдаль. Вавжон скоро наловил их достаточное количество.

На воде покачивались еще кучки какой-то зелени, может быть и съедобные, но они были слишком легки и не подплывали к берегу, так что он не мог их достать. Мальчишки закидывали на них веревки и таким образом притягивали к себе. А у Вавжона не было веревки, и потому он только жадно смотрел, ждал, когда мальчики уйдут, и рылся в мусоре, поедая то, что казалось ему съедобным. О том, что дочь его тоже не ела, он забыл.

Однако на этот раз судьба ему улыбнулась. Возвращаясь домой, он наткнулся на большой воз с картофелем, который по пути в порт завяз в выбоине и не мог

сдвинуться с места. Вавжон, не задумываясь, ухватился за колеса, помогая вознице вытащить воз. Тяжело ему было, даже поясицу заломило, потому что воз был нагружен доверху, но вот наконец лошади рванули, воз выскочил, и с него посыпалось прямо в грязь довольно много картошки. Возница и не подумал ее собирать, поблагодарил Вавжона за помощь и, стегнув лошадей, поехал.

Вавжон бросился собирать картофелины, жадно хватая их дрожащими руками, спрятал за пазуху и сразу повеселел.

Когда человек умирает с голоду, найденный кусок хлеба кажется ему счастьем. Так и Вавжон, возвращаясь домой, тихо бормотал:

– Ну, слава богу! Смилостивился он над нашим горем. Дрова есть, дочка печку затопит, а картошки столько, что дня на два хватит. Бог милостив! Сейчас у нас веселей станет. Марыся моя два дня не ела, вот обрадуется!

Так, разговаривая сам с собой, он в одной руке нес доски, а другой то и дело ощупывал, не падает ли у него из-за пазухи картофелина. Это было целое сокровище для него, и крестьянин с благодарностью подымал глаза к небу, бормоча:

– Думал я: воровать пойду, а тут без воровства само с воза упало. Бог милостив! Вы, дескать, не ели, так ешьте. Марыся мигом встанет, как узнает, что я картошку принес.

После ухода отца Марыся не двигалась с места. Когда он с утра ходил за дровами, девушка топила печку, приносила воду, ела, что было дома, а потом часами смотрела в огонь. Вначале и она искала работу. Ее было даже наняли в какую-то харчевню мыть посуду и мести пол, но распоряжения ей делали по-английски, она, не понимая их, делала не то, что велят, и дня через два ее прогнали. Потом она уже ничего не искала. По целым дням сидела она одна, боясь выйти из дому, потому что на улице к ней приставали ирландцы и пьяные матросы. Эта вынужденная праздность делала ее еще более несчастной. Тоска грызла ее, как ржавчина железо. Она была даже более несчастна, чем Вавжон, потому что, кроме голода и всевозможных лишений, кроме мучительного сознания, что им неоткуда ждать помощи и спасения, кроме страшной тоски по Липинцам, ее еще терзала мысль о Яське. Правда, он клялся ей в верности и говорил: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». Но тогда она ехала в надежде стать помещицей и барыней, а как страшно теперь все изменилось!

Ян работал батраком у помещика, но была у него и своя земля, а она так обеднела, так изголодалась, как мышь в липинецком костеле. Приедет ли он? А если и приедет, прижмет ли ее к груди? Скажет ли: «Бедняжка ты моя, сердечная» или «Пошла прочь, нищенка!»? И какое же у нее теперь приданое? Одни лохмотья. Теперь бы на нее и в Липинцах лаяли собаки, и все же как ее туда тянет, ах, как тянет! Душа так и рвется, так и полетела бы туда резвой ласточкой, и хоть умереть потом, лишь бы там. Там он, Ясь, и помнит ли он ее или позабыл, но она-то помнит его и любит, только с ним она была бы счастлива и покойна, с ним одним на всем божьем свете.

Когда топилась печка и голод не томил так сильно, как сегодня, пламя, шипя и стреляя искрами, говорило девушке о Липинцах и напоминало ей, как прежде она с подругами сидела за прялкой. Ян, выглядывая из боковушки, говорил: «Пойдем, Марыся, к ксендзу, уж больно ты мне мила!» А она отвечала: «Молчи ты, озорник!» И так ей было хорошо, так весело на душе, кат; и в то время, когда он силой вел

ее плясать на середину избы, а она, закрывая глаза руками, шептала: «Отвяжись ты, мне стыдно!»

Раньше, когда пламя напоминало об этом, слезы текли у нее по лицу, а теперь ни огня не было в печке, ни слез у нее на глазах, потому что все слезы она уже выплакала. Иногда ей казалось, что слезы плывут ей прямо в грудь и там ее душат. Она была очень изнурена и слаба, даже думать у нее не хватало сил, и она покорно страдала и только смотрела большими глазами грустно-грустно, как птичка, которую мучают.

Так она смотрела и теперь, неподвижно сидя на охапке со-- ломы. Вдруг кто-то отворил дверь. Марыся, предполагая, что это отец, не повернула головы, пока не послышался чужой голос:

– Look here![7]

Это был владелец трущобы, в которой они жили, старый угрюмый мулат, грязный и оборванный.

Увидев его, девушка испугалась. Они должны были уплатить вперед за будущую неделю, а у них не было не только доллара, но даже цента. Надеясь смягчить его покорностью, она подошла к нему и, поклонившись в ноги, поцеловала у него руку.

– Я пришел за долларом! – сказал хозяин.

Марыся поняла слово «доллар» и, отрицательно качая головой, не сводя с него молящего взгляда, пыталась ему объяснить, что у них вышли все деньги, что вот уже второй день они ничего не ели, что они голодны и чтобы он сжалился над ними.

– Бог вас за это наградит,– прибавила она по-польски, не зная уже, что сказать и что делать.

Мулат понял только одно: что доллара он не получит, и понял это настолько, что, захватив узелки с их вещами в одну руку, другой подтолкнул девушку к лестнице и, выгнав на улицу, бросил ей вещи под ноги. Потом с тем же хладнокровием открыл дверь в прилегающий к его дому кабак и крикнул:

– Эй, Падди, комната для тебя готова.

– All right! – ответил чей-то голос внутри. – Я приду ночевать.

Мулат исчез в темных сенях, а девушка осталась одна на улице. Она сложила свои узелки в какой-то нише, чтобы они не валялись в грязи, и, став возле них, покорно, как всегда, принялась ждать отца.

На этот раз пьяные матросы, проходя мимо, не приставали к ней. Улица была залита солнцем, и в лучах его лицо девушки казалось таким истощенным, точно она перенесла тяжелую болезнь. Только ее светлые, как лен, волосы были хороши по-прежнему, зато губы посинели, щеки ввалились, а под глубоко запавшими глазами легли черные тени, скулы заострились. Она казалась увядающим цветком, и видно было, что ей недолго осталось жить.

Прохожие смотрели на нее с некоторым состраданием. Старая негритянка спросила ее о чем-то, но, не получив ответа, ушла с обиженным видом.

Тем временем Вавжон спешил домой с тем добрым чувством, какое пробуждает в очень бедных людях очевидное доказательство божьего милосердия. Вот он несет дочери картофель; он думал, как они будут его есть, как завтра он опять пойдет в порт, куда приезжают возы, а о дальнейшем в эту минуту не думал, так как был слишком голоден.

Увидев издали дочь, стоявшую на тротуаре перед домом, Вавжон удивился и прибавил шагу.

– Ты чего здесь стоишь? – спросил он.

– Хозяин прогнал нас с квартиры!

– Прогнал?

Дрова вывалились у него из рук. Это было уже слишком. Прогнать их в ту минуту, когда есть дрова и картофель! Что же им теперь делать, где испечь картошку, что поесть, куда идти? Вслед за дровами Вавжон швырнул и шапку в грязь.

– Господи боже! – оторопело прошептал он, растерянно посмотрел на дочь и еще раз повторил: – Прогнал?

Потом хотел было куда-то идти, но раздумал и хриплым от гнева голосом сухо спросил:

– Что же ты его не просила, разиня?

– Я просила, – со вздохом ответила Марыся.

– И в ноги кланялась?

– Кланялась.

Вавжон закружился на месте, как червяк, когда его проколют. У него потемнело в глазах.

– А, чтоб ты пропала! – крикнул он.

Девушка с тоской взглянула на него.

– Я-то чем виновата?

– Стой тут и никуда не ходи. Я схожу сам, попрошу, чтобы он позволил хоть картошку испечь.

Он пошел. Через минуту в сенях послышался шум, топот, громкие голоса, и на улицу вылетел Вавжон, которого, видимо, вытолкала сильная рука.

С минуту он помолчал, потом коротко сказал:

– Пойдем.

Девушка наклонилась и подняла узлы. Для ее истощенных сил они были тяжелы, но

отец ей не помог, точно забыл или не видел, что она не в состоянии их тащить.

Они пошли. Две такие жалкие фигуры – старик и девушка, наверно, привлекли бы внимание прохожих, если бы эти прохожие не так привыкли к виду нищеты. Однако куда же им идти? На какую еще муку?

Девушка дышала все тяжелее и прерывистее, потом зашаталась и наконец умоляющим голосом сказала:

– Возьми вещи, отец, я больше не могу.

Вавжон будто вдруг проснулся.

– А ты брось их!

– Да ведь могут пригодиться.

– Не пригодятся.

Внезапно обернувшись, он увидел, что девушка стоит в нерешительности, и с бешенством крикнул:

– Брось, не то убью!

Она послушалась, испуганная, и они пошли дальше. Старик несколько раз повторял:

– Если так, то будь что будет! – потом умолк, но что-то недоброе сверкало у него в глазах.

По узким, утопающим в грязи улочкам они вышли в порт, поднялись на длинный помост на сваях, прошли мимо домика с надписью «Приют моряков» и спустились к воде. В этом месте строился новый док. Высокая платформа, с которой вколачивали сваи, выступала далеко в море, а между досок и балок сновали люди, работавшие на стройке. Марыся не в силах была дальше идти и села на сваленные грудой балки; Вавжон молча сел подле нее.

Было уже четыре часа дня. В порту царило обычное оживление. Туман рассеялся, и яркое солнце залило светом и теплом двух бедняков. С моря веяло свежим, живительным дыханием весны. Кругом было столько лазури и света, что глазам становилось больно. Вдали морская гладь сливалась с небом. На этом лазурном фоне высились мачты и трубы пароходов, от дуновения ветерка развевались флаги. На горизонте шедшие в порт суда, казалось, подымались в гору, будто вынырнув из воды. В ярких лучах солнца распущенные паруса, словно облачка, сверкали ослепительной белизной на водной лазури. Другие суда уходили в океан, вспенивая за собой воду. Они шли в ту сторону, где были Липинцы, где было их утраченное счастье и покой. Вот и думала девушка, чем они так согрешили, чем прогневали господа бога, что он, такой милосердный, отвернулся от них обоих и бросил их тут, па далеком берегу, среди чужих людей. А будь на то его воля, он мог бы вернуть им счастье. Сколько судов уходят в ту сторону, а все уходят без них. Измученная Марыся снова унеслась горестной мыслью к Липинцам и Яську-конюху. Думает ли он там о ней? Помнит ли ее? Она-то помнит; забывают только счастливые, а в горе и одиночестве мысль вьется вокруг любимых, как хмель вокруг тополя. А он? Может, посмеялся над старой любовью и уже сватов заслал в другую хату? Верно, и думать постыдился бы о такой нищенке, как она, а у нее, и правда, нет

ничего на свете, кроме «веночка из тимьяна», и никто уже не зайдет к ней сватов – разве только смерть.

Ей нездоровилось, поэтому она не очень чувствовала голод, но от слабости и душевной муки Марысей овладевала дремота. Глаза невольно закрывались, голова клонилась вниз. Минутами она просыпалась и открывала глаза, потом опять их закрывала. Ей снилось, что, блуждая по каким-то ущельям, она свалилась в пропасть, как та Кася в крестьянской песне, что упала в Дунаец глубокий, и она тотчас услышала как бы продолжение этой песни:

То увидел Ясек на крутой горе,
К милой он спустился на шелковом шнуре,
Короток шнурок был, с аршин недостает.
Милому Марыся косу подает.

Тут Марыся внезапно проснулась: ей почудилось, что косы у нее нет и что она летит в пропасть. Сон рассеялся. Не Ясек сидел подле нее, а старый отец, и не Дунаец был перед ней, а нью-йоркский порт, верфи, леса, мачты и трубы. Какие-то суда уходили в открытый океан, и с них-то доносилось пение. Наступал тихий теплый весенний вечер. Вода и небо отливали пурпуром. Морская гладь стала зеркальной, каждый корабль, каждая свая отчетливо отражались в воде, и все вокруг было прекрасно. Счастье и великий покой были разлиты в воздухе; казалось, весь мир радуется – только они были несчастны и забыты; рабочие стали расходиться по домам – только у них не было дома.

Между тем голод все сильнее терзал Вавжона, сжимая его внутренности железной рукой. Он сидел мрачный, неподвижный, и вся его фигура выражала какое-то страшное решение. Всякий, кто взглянул бы на него теперь, испугался бы: от голода в лице его появилось что-то звериное или птичье, а вместе с тем оно было безнадежно спокойно, как у мертвеца. За все это время Вавжон не промолвил дочери ни слова, и, только когда настала ночь и порт обезлюдел, он как-то странно сказал:

– Пошли, Марыся!

– Куда? – спросила она сонным голосом.

– На помост. Там на досках и заночуем.

На помосте было совсем темно, и им пришлось пробираться ползком, чтобы не провалиться в воду.

В конце помоста была платформа из досок, а за ней таран для вколачивания свай. На этой платформе, защищенной навесом от дождя, обыкновенно находились рабочие, вколачивавшие сваи, но теперь там не было никого.

Подойдя к самому краю платформы, Вавжон сказал:

– Тут мы и будем ночевать.

Марыся не легла, а скорее повалилась на доски и, несмотря на рои moskitov, крепко уснула.

Внезапно среди ночи ее разбудил голос отца:

– Марыся, вставай!

Что-то было в его голосе такое, что она тотчас проснулась.

– Что, отец?

В ночной тишине и мраке голос старого крестьянина звучал глухо, страшно, но спокойно.

– Слушай, дочка,– говорил он. – Не помирать тебе больше с голоду. Не пойдешь ты к людям на порог просить хлеба, не будешь спать под открытым небом. Люди тебя забыли, бог тебя забыл, горе истомило, так пусть хоть смерть тебя приголубит. Вода тут глубокая, недолго тебе мучиться.

В темноте она- не могла разглядеть лицо отца, но глаза ее широко раскрылись от ужаса.

– Утоплю я тебя, горемычную, и сам утоплюсь,– продолжал отец. – Никто нам тут не поможет, никто не пожалеет. Завтра уж ты не захочешь есть, завтра уж тебе лучше будет, чем сегодня...

Нет! Она не хотела умирать. Ей было только восемнадцать лет, и со всей силой юности она тянулась к жизни и страшилась смерти. Вся душа ее содрогнулась при мысли, что завтра она будет утопленницей, уйдет куда-то во тьму и будет лежать в воде среди рыб и гадов на илистом дне! Ни за что на свете! Нестерпимое отвращение и ужас охватили ее, а родной отец показался ей в этой темноте каким-то злым духом.

Между тем обе его руки опустились на ее исхудалые плечи, и он продолжал все с тем же страшным спокойствием:

– Кричи не кричи, никто тут тебя не услышит. Дай только спихну тебя – и все. «Отче наш» не прочитаешь.

– Я не хочу, отец, не хочу! – кричала Марыся. – Побойтесь вы бога! Родной мой, голубчик! Пожалейте мою молодость! Чем я вам не угодила? Ведь не жаловалась я на мою злую долю, а ведь с вами вместе терпела холод и голод... Отец...

Он тяжело дышал, руки его сжались, как клещи; дочь молила его все отчаянней:

– Смилуйтесь! Пожалейте меня! Пожалейте. Ведь я дочь вам родная, пожалейте меня, хворую, и так мне недолго жить на свете. Боюсь я, боюсь!

Марыся хваталась за сермягу и с мольбой прижималась губами к его рукам, к тем рукам, которые сталкивали ее в бездну. Но его, казалось, это только возбуждало. Спокойствие его перешло в безумие. Он захрипел и стал задыхаться. Минутами они оба затихали, и тогда слышалось только прерывистое дыхание, какой-то шорох и треск досок. Была глубокая, темная ночь, и помощи ждать было неоткуда; в этот дальний конец порта даже днем, кроме рабочих, никто не заходил.

– Смилуйтесь! Смилуйтесь! – отчаянно кричала Марыся.

В эту минуту Вавжон одной рукой с силой рванул ее к самому краю платформы, а другой стал бить по голове, чтобы заглушить ее крики. Но и так ее крика никто не услышал: лишь где-то вдали завывала собака.

Девушка почувствовала, что слабеет. Наконец ноги ее скользнули в пустоту, и только руки еще держались за сермягу отца, но уже онемели. Вопли ее становились все тише, тише, наконец руки ее оторвались вместе с клоком сермяги, и Марыся почувствовала, что летит в бездну.

Однако, падая, она ухватилась за сваю и повисла над водой.

Старик наклонился и, страшно сказать, стал отдирать ее руки.

Множество мыслей, словно стая испуганных птиц, пронеслось у нее в голове, мгновенно озаряя отдельные образы: Липинцы, колодец с журавлем, отъезд, пароход, буря, нищета в Нью-Йорке, наконец... но что же это с ней происходит? Она видит какой-то громадный пароход с приподнятым носом, на нем: толпа народу, а из этой толпы две руки протягиваются к ней. О господи! Да ведь это Ясек. Ясек протягивает ей руки, а над пароходом и над Ясеком улыбается мать божья. При виде этого она с криком расталкивает людей, стоящих на берегу: «Мать боясья! Ясек, Ясек!» Еще минута... В последний раз она глядит на отца.

– Отец! Там мать божья! Там мать божья!

Еще минуту – и протянутые к ней руки, те же руки, которые сталкивали ее в воду, хватают теперь ее за плечи и с нечеловеческой силой вытаскивают вверх. Опять она чувствует под ногами доску платформы, снова обнимают ее руки – руки отца, а не палача, и голова ее склоняется на отцовскую грудь.

Очнувшись от обморока, Марыся увидела, что отец лежит лицом вниз подле нее; все его тело сотрясали тяжкие, горькие рыдания, от которых, казалось, разрывалась его грудь.

– Марыся, – проговорил он наконец прерывающимся от рыданий голосом, – прости меня, дочка...

Девушка поднялась, нащупала в темноте его руку и, прижав к ней бескровные губы, прошептала:

– Да простит вас Иисус Христос, как я вас прощаю.

Из бледной полосы света, озарившего небосклон, выплывала большая, ясная, полная луна, и снова стало твориться что-то странное. Марыся увидела, как от луны отрываются роями, словно золотые пчелки, маленькие ангелочки и, шелестя крылышками, спускаются к ней по лучам, мелькают, кружась, и поют детскими голосами:

– Отдохни, усталая девушка! Отдохни, бедная пташка! Цветик полевой, терпеливый и тихий, отдохни!

Распевая, они потряхивали над ней чашечками белых лилий и маленькими серебряными колокольчиками, которые нежно звенели:

– Спокойного сна тебе, девушка! Спокойного сна тебе! Сна... сна... сна!

И ей сделалось так хорошо, так светло и спокойно, что она уснула.

Ночь проходила и уже бледнела. Рассветало. Мачты и трубы стали выступать из мрака, как будто приближаясь. Вавжон стоял на коленях, склонившись над Марысей.

Он думал, что она умерла. Ее стройное тело лежало без движения, глаза у нее были закрыты, иссиня-бледное лицо застыло в странном спокойствии. Тщетно старик тряс ее за плечо: она не дрогнула, не открыла глаз. Вавжону казалось, что и он умрет, но, прикоснувшись ладонью к ее губам, он почувствовал, что она дышит. Сердце ее билось, хотя и слабо, однако он понял, что с минуты на минуту она может умереть. Если из утреннего тумана выглянет солнце и согреет ее, она очнется, иначе нет.

Чайки, словно горюя, кружились над ней или садились на высившиеся вокруг столбы. Но вот подул теплый весенний ветерок и рассеял туман.

Взошло солнце. Золотые лучи его упали сперва на верхушки строительных лесов, потом, спустившись ниже, на помертвелое лицо Марыси. Казалось, они целовали ее, нежили и ласкали. В этом сиянии, в венке белокурых волос, рассыпавшихся в ночной борьбе, она была прекрасна, как ангел, да она в действительности и была ангелом.

Между тем из моря вставал чудесный розовый день, солнце пригревало все сильнее, ветер мягко, как бы с состраданием, обвевал девушку, чайки, кружась над ней, кричали, точно желая ее разбудить. Вавжон сбросил с себя сермягу и укутал ей ноги. Надежда затеплилась в его сердце.

Понемногу синева исчезла с ее лица, щеки порозовели, она улыбнулась и открыла глаза.

Тогда старый крестьянин стал на колени, поднял глаза к небу, и слезы ручьем потекли по его морщинистому лицу.

В эту минуту он почувствовал, что она теперь все для него – зеница его ока, святая святых, его сокровище, самое дорогое на свете.

Молодая девушка не только проснулась, но проснулась более крепкой и бодрой, чем накануне.

Чистый морской воздух оказался для нее более здоровым, чем отравленная атмосфера комнаты. Видно, она и на самом деле ожила, так как, усевшись на досках, сказала:

– Отец, я есть хочу.

– Ступай, дочка, на берег: может, что и найдешь, – проговорил старик.

Марыся встала без особого усилия, и они пошли. Но, видно, этот день должен был стать исключительным среди мрачных дней их бедствий; не успели они пройти несколько шагов, как увидели на лесах засунутый между балками платок, в котором оказались хлеб, вареная кукуруза и кусок солонины. Объяснялось это просто тем, что кто-то из плотников, строивших здесь суда, оставил себе на сегодня часть своего завтрака. У тамошних рабочих есть такое обыкновение, но Вавжон и Марыся объясняли это еще проще. Кто положил здесь хлеб? Они полагали, что это был тот, кто заботится о каждом цветочке, о каждой птичке, о каждом кузнечике и муравье, – бог!

Они помолились, поели, хоть маловато этого было на двоих и пошли по берегу к главным докам. Силы их отчасти восстановились. Дойдя до здания таможни, они повернули на Вотер-стрит к Бродвею. По дороге не раз отдыхали и таким образом дошли только часа через три, так как путь был дальний. Они шли, сами не зная зачем, но Марысе почему-то казалось, что им непременно нужно идти в город. По дороге им повстречалась целая вереница нагруженных доверху возов, направляющихся к порту. На Вотер-стрит уже было немалое движение. То тут, то там отпирались ворота, и из них выходили люди, спешившие к своим повседневным делам. Из одних ворот вышел высокий седой господин с мальчиком. При виде Вавжоиа и Марыси на лице его выразилось крайнее удивление, он улыбнулся, зашевелил усами и стал внимательно разглядывать их обоих.

Человек, дружелюбно улыбающийся им в Нью-Йорке,— это было чудо, чуть не колдовство, при виде которого оба они остолбенели. Между тем седой господин подошел к ним и спросил по-польски:

— Откуда вы, добрые люди?

Словно гром грянул с ясного неба. Вавжон не отвечал, но побледнел как полотно и зашатался, не веря ни своим ушам, ни своим глазам. Марыся первая опомнилась и, упав в ноги старому господину, воскликнула:

— Из Познани, ваша милость, из Познани!

— Что же вы тут делаете?

— В нужде живем, в холоде и в голоде, горе мыкаем.

Тут Марысе изменил голос, она умолкла. Вавжон, в свою очередь, повалился в ноги господину и, целуя полу его сюртука, вцепился в нее, будто за край неба ухватился. Да ведь это свой, свой барин. Он не даст умереть им с голоду, спасет их, не даст им пропасть зря. Мальчик, сопровождавший седого господина, вытаращил глаза, прохожие, окружив их, от удивления рты разинули, глядя, как человек перед человеком стоит на коленях, целуя ему ноги. В Америке это вещь небывалая. Но старый господин рассердился на любопытных зевак.

— Это не ваш бизнес,— сказал он им по-английски,— занимайтесь своим бизнесом.

— Потом обратился к Вавжону и Марысе: — Нечего вам стоять тут на улице, идите за мной.

Он привел их в ближайший трактир и там, в отдельной комнате, заперся вместе с ними и с мальчиком. Они снова бросились ему в ноги, наконец господин рассердился.

— Довольно,— проговорил он. — Мы ведь земляки с вами, дети одной... матери...

Тут, очевидно, дым от сигары, которую курил старый господин, стал есть ему глаза, он протер их кулаком и спросил:

— Не голодны вы?

— Мы уже два дня ничего не ели, да вот сегодня кое-что нашли на берегу.

– Вильям,– окликнул старый господин мальчика,– вели подать им есть.

Затем опять стал их расспрашивать:

– Где вы живете?

– Нигде, ваша милость.

– А где ночевали?

– На берегу.

– Вас с квартиры прогнали?

– Прогнали.

– У вас нет больше вещей, кроме тех, что на вас?

– Нет.

– А денег тоже нет?

– Нет.

– Что же вы будете делать?

– Не знаем.

Старый господин спрашивал быстро, как бы сердито, потом неожиданно обратился к Марысе:

– Сколько тебе лет, девушка?

– Скоро восемнадцать.

– Много ты натерпелась, а?

Она ничего не ответила и только смиренно склонилась к его ногам.

Старому господину, очевидно, дым опять попал в глаза.

В эту минуту принесли пиво и жаркое. Старый господин велел им сейчас же приняться за еду, а когда они ответили, что не смеют есть в его присутствии, он обозвал их дураками. Однако, несмотря на сердитый вид, он казался им ангелом с неба.

Наконец они стали есть, чем доставили ему видимое удовольствие. Потом он велел им рассказать, как они сюда попали и что пережили.

Вавжон рассказал ему все подробно, ничего не скрывая, как на исповеди ксендзу. Старый господин сердился, бранил его, а когда услышал, как Вавжон хотел утопить Марысю, крикнул:

– Я бы шкуру с тебя содрал!

Потом подозвал Марысю.

– Иди сюда, девушка!

Когда она подошла, он обхватил ее голову обеими руками и поцеловал в лоб. Затем, подумав минуту, проговорил:

– Да, много вы горя хлебнули. Страна эта хорошая, только нужно уметь здесь устроиться.

Вавжон глаза на него вытаращил: почтенный и умный барин называл Америку хорошей страной.

– Да, да, – сказал тот, заметив удивление Вавжона, – страна эта хорошая, только не надо быть увальнем. Когда я сюда приехал, у меня ничего не было, а теперь есть кусок хлеба. Но вам, крестьянам, нужно свою землю пахать, а не по свету таскаться. Если вы уедете, кто же там останется? Приехать-то сюда легко, но вернуться трудно. А здесь вы никому не нужны.

С минуту помолчав, он проговорил словно про себя:

– Сорок с лишним лет я здесь живу и, конечно, стал забывать родину, а все же подчас тоскую по ней. Вильям непременно туда поедет, он должен узнать страну, где жили его предки... Это мой сын, – показал он на мальчика. – Вильям, ты привезешь с родины горсть земли и положишь мне под голову в гроб.

– Jes, father! [8] – ответил по-английски юноша.

– И на грудь, Вильям, и на грудь!

– Jes, father!

Дым снова стал есть глаза старому господину, и на этот раз так сильно, что они наполнились слезами. Он рассердился:

– Ведь понимает шалопай по-польски, а предпочитает по-английски говорить. Что ж, ничего не поделаешь. Кто сюда попал, тот для родины уже потерян. Вильям! Ступай домой и скажи сестре, что у нас будут гости к обеду и останутся ночевать.

– Отправить их назад – большой расход, да и что их там ждет? Ведь продали все, что у них было... – значит, по миру пойдут. Отдать девушку в прислуги – тоже бог весть что может случиться. Раз уж они здесь, надо подыскать им работу. Пошлю их куда-нибудь в колонию: девушка мигом выйдет замуж. Вдвоем с мужем она прокормится, а захотят вернуться, так и старика возьмут. – Затем он обратился к Вавжону: – Слышал ты о наших здешних колониях?

– Не слышал, ваша милость.

– Ну и народ! Как же вы решили ехать в Америку? О господи! Мудрено ли, что вы тут погибаете. В Чикаго таких, как вы, тысяч двадцать, в Мильвоки столько же, в Детройте и в Буффало тоже много. Но там работают па фабриках, а крестьянину лучше заняться земледелием. Разве послать вас в Новый Радом в Иллинойс? Гм... Но там уже трудно получить землю. Теперь в Небраске основывают какую-то Новую

Познань в прериях, но это далеко. Проезд по железной дороге будет дорого стоить. Отправить вас в Техас... Но это тоже далеко. Лучше всего было бы в Боровину, тем более что я могу вам достать даровые билеты, а денег на первое устройство я вам дам.

Он опять глубоко задумался.

– Слушай, старик,– сказал он. – Теперь в Арканзасе основывают новую колонию под названием Боровина. Это хороший край, теплый и почти совсем не населенный. Там ты получишь от правительства сто шестьдесят моргов земли, тебе придется платить только небольшую сумму железнодорожной компании. Понятно? На хозяйство я тебе дам и железнодорожные билеты – это я могу. Вы доедете до города Литтл-Рок, а дальше придется ехать лошаадьми. Там вы найдете других эмигрантов, которые поедут вместе с вами. Впрочем, я дам вал рекомендательное письмо. Я хочу тебе помочь, как брат, но твою дочь я жалею во сто раз больше, чем тебя. Понятно? Благодарите бога, что вы меня встретили. – Тут голос его смягчился. – Слушай, дитя,– продолжал он, обращаясь к Марысе. – Вот возьми мою визитную карточку и свято храни. Если когда-нибудь ты окажешься в нужде, если останешься одинокой и без крова, то поищи меня. Ты доброе дитя, и мне тебя жаль. Когда я умру, Вильям позаботится о тебе. Смотри же, не потеряй карточку. Ну, а теперь пойдете ко мне.

По дороге старый господин купил им белья и одежду, а потом привел к себе и накормил до отвала. Это был дом добрых людей, потому что и Вильям, и его сестра Дженни отнеслись к своим гостям, как к родным. Вильям обращался с Марысей словно с какой-нибудь леди, что ее очень смущало. Вечером к Дженни пришли ее подруги, молоденькие барышни с челками на лбу, хорошо одетые и милые. Они не отходили от Марыси, удивлялись ее бледности и красоте, ее светлым, как лен, волосам и тому, что она поминутно кланяется в ноги и целует им руки. Это их особенно смешило. Старый господин расхаживал между молодыми, покачивал своей белоснежной головой, ворчал, иногда сердился, говорил то по-английски, то по-польски, расспрашивал

Марысю и Вавжона о далекой родине, предавался воспоминаниям, и иногда дым от сигары, видимо, опять ел ему глаза, и он то и дело утирал их украдкой.

Когда пришла пора ложиться, Марыся не могла удержаться от слез, видя, как Дженни собственными руками готовит ей постель. «Ох, какие же это хорошие люди,– думала она,– хотя что тут удивительного! Ведь старый господин тоже родом из Познани».

На третий день Вавжон и Марыся ехали уже в Литтл-Рок. Зная, что у него в кармане лежит сто долларов, Вавжон совершенно забыл о перенесенных бедствиях, а Марыся видела во всем перст божий и верила, что бог не даст ей погибнуть и как ее вывел из беды, так и Яся приведет в Америку, не оставит их своей милостью и позволит вернуться в Липинцы.

Тем временем в окнах вагона мелькали все новые города и фермы. Здесь было совсем не похоже на Нью-Йорк. По обеим сторонам тянулись поля, вдали темнели леса, среди деревьев стояли домики, а за ними кругом зеленели хлеба, совсем как в Польше. При виде этого Вавжона охватило такое волнение, что ему хотелось крикнуть: «Эй вы, леса, зеленые поля!» На лугах паслись стада коров и овец, на опушках лесов сутились люди с топорами. Поезд летел все дальше и дальше, постепенно окрестности становились менее населенными, наконец фермы исчезли, и началась широкая пустынная степь. Ветер волнами проносился по траве и раскачивал цветы. Кое-где вились золотистыми лентами дороги, поросшие желтыми цветами,

иногда проезжал по ним воз. Высокие сорняки кивали головками, словно приветствуя странников. В небе парили на широких крыльях орлы, зорко вглядываясь в степь. А поезд все летел вперед, как будто хотел долететь туда, где эти степные просторы сливались с небом. Перед окнами вагонов пробегали целые стада зайцев и кроликов. Порой из чащи трав выглядывала рогатая голова оленя. Нигде не было видно ни города, ни деревни, ни колокольни, одни только станции. Вавжон смотрел, качал головой и не мог уразуметь, как это столько «добра», как он называл землю, пропадает зря.

Прошли первые сутки. Утром въехали в лес, в котором деревья были опутаны растениями толщиной в человеческую руку. Всевозможные птицы щебетали в этих зеленых чащах. В одном месте Вавжону и Марысе показалось, что посреди этих извилистых растений они видят каких-то всадников с перьями на головах и красными, точно медными, лицами. При виде этих причудливых деревьев, этих пустынных степей и безлюдных лесов, всех этих неведомых чудес и совершенно других, непохожих людей Вавжон наконец не утерпел и сказал:

– Марыся!

– Что, отец?

– Видишь?

– Вижу.

– А чудно тебе?

– Чудно.

Наконец они проехали реку под названием Миссисипи, как они после узнали, которая была раза в три шире Варты, и поздно ночью прибыли в Литтл-Рок.

Отсюда им предстояло пробираться в Боровину.

Здесь мы их на время оставим. Второй этап их скитаний за хлебом был окончен. Третий начнется в лесах, под стук топоров, в тяжелом труде и горестях поселенческой жизни. Будет ли в нем меньше слез, страданий и бедствий, об этом мы вскоре узнаем.

III

Жизнь в колонии

Чем была в ту пору Боровина? Колонией, которая только должна была возникнуть. А название, очевидно, придумали заблаговременно, и авторы его, несомненно, исходили из принципа, что раз существует название, то должна существовать и вещь. Незадолго перед тем польские и даже английские газеты, выходившие в Нью-Йорке, Чикаго, Буффало, Детройте, Мильвоки и Денвере – словом, везде, где можно услышать польскую речь, возвещали *urbi et orbi*[9] вообще, а польским колонистам в частности, что если кто желает быть здоровым, богатым и счастливым, хорошо есть и долго жить, а после смерти наверное попасть в царствие небесное, то пусть едет в земной рай, то есть в Боровину. Объявления гласили, что Арканзас, в котором будет основана Боровина, – край хотя и пустынный, но зато самый здоровый в мире. Правда, селение Мемфис, расположенное на самой границе, по другую сторону Миссисипи, является очагом желтой лихорадки, но согласно объявлениям ни желтая и никакая иная лихорадка не сумеют переплыть такую реку,

как Миссисипи. На высоком берегу в Арканзасе ее нет еще и потому, что живущие по соседству индейцы немедленно сняли бы с нее скальп без всякого сострадания. Лихорадка дрожит при виде краснокожих. Благодаря такому стечению обстоятельств переселенцы в Боровине будут жить между лихорадкой, обитающей на востоке, и краснокожими, обитающими на западе, то есть в полосе совершенно нейтральной, а следовательно, имеющей пред собой такое будущее, что через тысячу лет в Боровине будет, несомненно, миллиона два жителей, а земля, за которую теперь платят полтора доллара за акр, будет стоить приблизительно тысячу долларов за квадратный локоть.

Перед такими обещаниями и перспективами трудно было устоять. Тех, кого не слишком прельщало соседство индейцев, объявления заверяли, что воинственное и доброе племя питает особую симпатию именно к полякам, а потому переселенцы могут рассчитывать на самое любезное отношение к ним краснокожих. Наконец, известно, что стоит только по лесам и прериям провести железную дорогу и водрузить телеграфные столбы наподобие крестов, как эти кресты в самом скором времени станут памятниками на могилах индейцев, а так как Боровина приобретена у железнодорожной компании, то исчезновение краснокожих является делом ближайшего будущего.

Боровина действительно ранее принадлежала железнодорожной компании, что гарантировало колонии связь с остальным миром, сбыт продуктов и вообще будущее развитие. В объявлении, правда, забыли указать, что железная дорога пока только проектируется и что именно продажа земельных участков, которые правительство давало железнодорожным компаниям в незаселенных местностях, должна была обеспечить, или, вернее, пополнить, ассигнованный на постройку капитал. Забывчивость эту, однако, легко объяснить сложностью дела. Впрочем, для Боровины это представляло лишь ту незначительную разницу, что она была расположена не на железной дороге, а в глухой пустыне, и ехать туда приходилось на лошадях, да и то с большими трудностями.

Из-за этой забывчивости могли возникнуть разные неприятности, по, конечно, неприятности только временные, которые должны прекратиться с проведением железной дороги. Наконец, известно также, что объявления в Америке нельзя понимать дословно, потому что, как всякое растение, пересаженное на американскую почву, прекрасно растет, но не дает плодов, так и реклама в американских газетах разрастается до такой степени, что иногда очень трудно найти хоть зернышко правды среди риторических плевел. Однако, отбросив все, что в объявлениях следовало счесть риторикой, все-таки можно было предположить, что Боровина будет не хуже тысячи иных колоний, о которых газеты писали с не меньшими преувеличениями.

Условия могли даже показаться в некоторых отношениях выгодными, вот почему множество лиц и даже целых польских семейств, рассеянных по всем Соединенным Штатам, от Великих озер до пальмовых лесов Флориды, от Атлантики до Калифорнийского побережья, записалось в число поселенцев будущей колонии. Мазуры из Пруссии, силезцы, эмигранты из Познани и Галиции, литовцы из-под Августова и мазуры из-под Варшавы, работавшие на фабриках в Чикаго и Мильвоки и давно уже мечтавшие о сельской жизни, воспользовались первым попавшимся случаем, чтобы вырваться из душных, прокопченных дымом и сажей городов и взяться за плуг и топор в бескрайних полях, лесах и прериях Арканзаса. Те, кому было слишком жарко в Техасе или слишком холодно в Миннесоте, чересчур сыро в Детройте или чересчур голодно в Иллинойсе, присоединились к первым, и вот несколько сот человек, преимущественно мужчин, но также и женщин с детьми, направилось в Арканзас.

Название «Кровавый Арканзас» не особенно пугало поселенцев. Хотя правду сказать, основания для страха были, так как до сих пор страна эта изобилует воинственными индейцами, а также преступниками, разбойниками, бежавшими от правосудия, одичавшими колонистами, вопреки правительственным запрещениям вырубавшим леса у берегов Red River, и всякими другими авантюристами, ускользнувшими от виселицы; и до сих пор западная часть этого штата славится жестокой борьбой между краснокожими и белыми охотниками на буйволов, а также страшным судом Линча. Однако мазур, когда ему в руки попадает дубинка и в особенности когда он знает, что и с боков и сзади у него стоят свои мазуры, не очень-то любит идти на уступки, а тому, кто станет ему поперек дороги, без церемонии крикнет: «Не лезь, не то так двину, что костей не соберешь!» Давно также известно, что мазуры ладят между собой и селятся так, чтобы Мацек к Мацеку мог в любую минуту прибежать на помощь с дубиной.

Сборным пунктом для большинства поселенцев был назначен город Литтл-Рок, по от него до ближайшего к Боровине селения было дальше, чем от Варшавы до Кракова, и, что еще хуже, туда нужно было ехать по безлюдной местности, продираясь сквозь густые заросли и переплывая разлившиеся реки. Несколько человек, которые не захотели ждать, пока все соберутся, и отправились в одиночку, пропали без вести, но остальные благополучно добрались и расположились лагерем в лесу.

По правде говоря, прибыв на место, поселенцы испытали глубокое разочарование. Они рассчитывали найти на участке, предназначенном для колонии, поля и леса, а нашли только леса, которые надо было корчевать. Черные дубы, красное дерево, платаны и мрачные гикоры росли здесь сплошной массой. Сквозь чащу невозможно было продраться: внизу разрослись какие-то кустарники, вверху вились лианы, которые, как канаты, переплели деревья, образуя то висячие мосты, то завесы, то гирлянды, усыпанные цветами, до того густые и плотные, что сквозь них ничего нельзя было разглядеть. Забредет кто-нибудь подальше в лес, а там и неба не видно, а темно так, что можно сразу же заблудиться и погибнуть. Мазуры посматривали то на свои кулаки, то на топоры, то на дубы аршин по десять – двенадцать в обхвате, и им становилось не по себе.

Не худо иметь много лесу, чтобы было из чего избу построить и чем печку топить, но одному человеку вырубить восемьдесят десятин леса, выкорчевать пни, вывезти их и тогда только взяться за плуг – это дело на долгие годы.

Но что было делать? Приходилось браться за эту работу. И вот на другой день после приезда кое-кто из Мазуров перекрестился, поплевал на ладони, схватился за топор, крикнул – да как махнет... С той поры с утра до ночи в арканзасском лесу слышался стук топоров, а подчас и песня:

Пробрался Ясек
К милой во двор:
«Пойдем же, Кася,
Со мною в бор,
В зеленый темный бор...»

Лагерь стоял у ручья, на большой поляне, избы решили строить четырехугольником по опушке леса, а посредине со временем построить костел и школу. Но до этого было еще далеко, а пока здесь стояли фургоны, в которых приехали семьи поселенцев. Фургоны эти устави́ли треугольником, чтобы в случае нападения можно было защищаться, как в крепости. Вокруг фургонов на поляне паслись мулы, лошади,

волы, коровы и овцы, которых охраняли молодые парни, вооруженные пистолетами и ружьями. Люди спали в фургонах или внутри треугольника у костра.

Днем в лагере оставались только женщины и дети, а о существовании мужчин можно было узнать только по стуку топоров, разносившемуся по всему лесу. По ночам в чаще выли дикие звери: ягуары, арканзасские волки и койоты. Страшные серые медведи, которые меньше других хищников боятся огня, иногда подходили довольно близко к фургонам; тогда в темноте раздавались ружейные выстрелы и крики: «Бей зверя!» Люди, прибывшие из Техаса, в большинстве были опытными охотниками, и сейчас, в пору весеннего кочевья зверей на север, они без труда могли кормить свои семьи мясом антилоп, оленей и буйволов. Остальные поселенцы питались преимущественно кукурузной мукой и солониной, привезенными из Литтл-Рока или Кларксвилла. Кроме того, били овец, которых закупила по дороге каждая семья.

По вечерам посреди поляны между фургонами разводили большой костер, и молодежь, поужинав, вместо того чтобы ложиться спать, пускалась в пляс. Какой-то музыкант привез с собой скрипку, на которой лихо играл обертас, а когда звуки скрипки терялись в шуме леса, остальные помогали музыканту по-американски – стуча в жестяные миски. Жизнь проходила в тяжелом труде, шумно и беспорядочно. Прежде всего необходимо было построить избы; и вот вскоре на зеленой мураве поляны встали срубы домов, а весь лагерь усеялся стружками, щепками и корой. Красное дерево оказалось вполне пригодным для постройки, но за ним часто приходилось ходить довольно далеко. Многие поселенцы устроили себе временные шатры из холста, снятого с фургонов. Иные, особенно неженатые, которым не так был нужен кров над головой и которым надоело корчевать пни, стали пахать в местах, где было меньше дубов и гикор. Тогда, впервые с тех пор как стоит арканзасский лес, разнеслись в нем окрики, которыми понукали волов.

На поселенцев свалилось столько работы, что неизвестно было, за что прежде браться: строить ли сначала дома, корчевать или ходить па охоту. С самого начала выяснилось, что уполномоченный колонистов купил землю у железнодорожной компании заглазно и раньше никогда здесь не был, иначе он не стал бы приобретать дремучий лес, тем более что так же легко было купить степную землю, только частью поросшую лесом...

Правда, и он, и уполномоченный железной дороги прибыли на место, чтобы размежевать участки и указать каждому его делянку, но, увидев, как обстоят дела, они дня два повертелись, затем перессорились и уехали в Кларксвилл якобы за землемерными инструментами, но больше уже в колонии не показывались.

Вскоре оказалось, что одни поселенцы уплатили больше, другие меньше, но, что еще хуже, никто не знал, где находится его участок и как размежевать землю. Поселенцы остались без всякого руководства, без всякой власти, которая могла бы упорядочить их дела и разрешить споры. Им было непонятно, как им надлежало работать. Немцам хотелось бы взяться всем вместе за рубку леса, затем на очищенном пространстве они поставили бы общими усилиями дома и тогда бы начали отмерять для каждого приусадебный участок. Что же до Мазуров, то каждый из них хотел сразу получить свою землю, строить свой дом и рубить лес на своем участке, к тому же каждому хотелось захватить место на поляне, где лес был реже и ближе вода. Из-за этого происходили споры, которые еще более разгорелись, когда однажды появился, как снег на голову, фургон некоего господина Грюнманского. Этот господин Грюнманский приехал из Цинцинната, где живут немцы, и там, вероятно, назывался просто Грюнман, но в Боровине прибавил себе «ский», должно быть, для того, чтобы лучше шла торговля. Фургон у него был крытый, с холщовым

верхом, на котором по обеим сторонам чернела надпись крупными буквами: «Салун», а внизу меньшими буквами: «Бренди, виски, джин».

Каким образом фургон этот добрался невредим через опасную пустыню между Кларксвиллом и Боровиной, как его не ограбили степные разбойники и почему индейцы, которые бродят небольшими отрядами возле Кларксвилла, не сняли скальп с головы господина Грюнманского — это осталось его тайной; важно то, что он приехал и с первого же дня дела его пошли отлично. И с этого же дня поселенцы начали ссориться. Ко множеству споров из-за участков, из-за орудий, из-за овец, из-за мест у костра прибавились недоразумения из-за совсем пустячных причин. Ни с того ни с сего в поселенцах заговорил некий провинциальный американский патриотизм. Пришельцы из северных штатов стали восхвалять свое прежнее местожительство, в то же время хуля колонии южных штатов, и наоборот. Вот тут-то можно было услышать образцы американо-польского диалекта, заштопанного английскими нитками всюду, где образовались прорехи в польской речи вследствие оторванности от родины и пребывания среди чужих.

— Что вы так расхваливаете свои южные кантри[10],— говорил, например, парень из Чикаго. — У нас, в Илинойсе, куда ни взглянешь, везде рейбред[11], а если каром[12] милю проедешь, то тут тебе и сити[13]. Пойдешь на ферму, захочешь дом построить, незачем лес рубить, а купишь ламбер[14] — и баста, а у вас что?

— У нас один каньон[15] больше стоит, чем все твои поселки.

— Какого черта ты меня тычешь? Я там был «сир» и тут буду «сир», а ты кто такой?

— Потихе, а то возьму шингелс[16] либо утоплю тебя в крике[17], если злишься. Что тебе за бизнес до меня!

— Чего ты меня фулишуешь?[18] Нужен ты мне очень!

Вообще в колонии дела шли плохо, так как поселенцы напоминали стадо овец без пастуха. Споры из-за участков все учащались. Дело доходило до побоищ, в которых выходцы из одних городов или колоний объединялись против выходцев из других местностей. Правда, люди более опытные и более рассудительные постепенно приобретали авторитет и власть, но не всегда могли их удержать. Только в минуты опасности инстинкт самосохранения заставлял забывать ссоры. Когда однажды вечером какие-то индейцы украли с десятков овец, мужчины, не задумываясь, бросились в погоню всем скопом. Овец отобрали, а одного вора избили так, что вскоре он умер, и в этот вечер в лагере царил полнейший мир; но на следующее же утро опять поднялась драка, когда стали корчевать пни. Впрочем, мир наступал иногда и по вечерам, когда музыкант играл не танцы, а разные песни, которые каждый слушал в далеком прошлом, еще у себя дома, под соломенной кровлей. Сразу стихали разговоры. Крестьяне окружали музыканта, шум леса вторил ему, пламя костров шипело и стреляло искрами, а они стояли понуря головы, и души их улетали за море. Нередко луна уже высоко стояла над лесом, а они все еще слушали. Но за исключением этих кратких минут жизнь в поселении все более разлаживалась. Беспорядок возрастал, зародилась ненависть. Это маленькое общество, заброшенное среди лесов, почти оторванное от остального мира и оставшееся без руководителей, не могло и не умело найти выход из создавшегося положения.

Между поселенцами оказались и знакомые нам лица: старый крестьянин Вавжон Топорек и его дочь Марыся. Попав в Арканзас, они делили судьбу других поселенцев

Боровины. Сначала им жилось сравнительно недурно. Лес – не нью-йоркская мостовая, к тому же там у них ничего не было, а здесь был фургон, немного инвентаря, приобретенного по дешевке в Кларксвилле, необходимые земледельческие орудия. Там их терзала страшная тоска, здесь тяжелый труд не позволял мыслям отвлекаться от насущных потребностей. Вавжон с утра до вечера рубил лес и обтесывал бревна для постройки дома. Марыся стирала в ручье белье, разводила костер и стряпала обед, но, несмотря на усталость, работа на свежем воздухе постепенно стирала с ее лица следы болезни, явившейся следствием нищенской жизни в Нью-Йорке. Горячие ветры из Техаса покрыли золотистым загаром ее бледное личико. Молодые парни из Сан-Антонио и с Больших Озер, затевавшие драку из-за любого пустяка, сходились только в одном: что глаза у Марыси светятся из-под русых волос, как васильки во ржи, и что красивее девушки не видывал свет. Красота Марыси оказалась на руку Вавжону. Он сам себе выбрал участок земли, где лес был пореже, и никто ему не препятствовал, потому что все парни были на его стороне. Не раз парни помогали ему и рубить лес, обтесывать бревна и ставить сруб, хитрый старик сразу понял, в чем дело, и время от времени говаривал:

– Ходит моя дочка по лугу, словно лилия, словно королева. Кому захочу, тому ее и отдам; да первому встречному не отдам, потому что она не кто-нибудь, а хозяйская дочь. Кто мне ниже поклонится да больше угодит, тому и отдам, а не какому-нибудь шалопаю.

И всякий, помогая ему, думал, что помогает себе.

Таким образом, Вавжону было даже лучше, чем другим, и было бы совсем хорошо, если бы колонии предстояло какое-нибудь будущее. Но дела там ухудшались с каждым днем. Прошла неделя, другая. Вокруг поляны срубили лес, земля покрылась стружками, кое-где уже желтели срубы, однако все это было пустяком в сравнении с тем, что оставалось сделать. Зеленая стена леса очень-очень медленно отодвигалась вглубь под натиском топоров. Люди, заглянув в чащу, приносили странные слухи, будто этому лесу конца нет, что неподалеку начинаются страшные топи и какая-то спящая вода под деревьями, будто обитают там какие-то чудища, а в чаще колышутся, словно духи, какие-то испарения; шипят неведомые змеи, а невидимые голоса кричат: «Не ходи!», и какие-то дикие кусты хватают за платье и не пускают. Один парень из Чикаго утверждал, что видел черта, будто он высунул из болота страшную косматую голову и так на него зарычал, что тот едва ноги унес. Выходцы из Техаса толковали ему, что, наверное, это был буйвол, но парень не верил. Таким образом, к неурядицам прибавились еще и суеверия. Через несколько дней после встречи с чертом два смельчака отправились в лес – и больше их уже в лагере не видели. Несколько человек надорвались на тяжелой работе, а потом заболели лихорадкой. Ссоры из-за участков обострились до такой степени, что дело доходило до кровопролития. Ссорились также и из-за скота, захватывали у тех, кто своевременно не поставил клейма. Лагерь распался, теперь поселенцы поставили свои фургоны по всем углам поляны, чтобы быть подальше друг от друга. Никто не знал, чья очередь сторожить скот, и вскоре стали пропадать овцы. Становилось все более очевидным, что пока солнце встанет, роса очи выест – пока зазеленеют посевы на лесных вырубках и появится приплод у скота, съестные припасы кончатся и настанет голод.

Люди приходили в отчаяние. Реже стучали в лесу топоры, уже иссякло терпение и мужество. Работал бы каждый, кому было бы сказано: «Вот, до сих пор твое». Но никто не знал, что принадлежит ему, что другому. Все чаще слышались справедливые нарекания на уполномоченных. Люди жаловались, что их завели сюда в лес на погибель. Мало-помалу все, у кого еще оставался хоть грош за душой, садились в

фургоны и уезжали в Кларксвилл. Но больше было таких, которые потратили все деньги на переселение, и им не на что было возвращаться. Они ломали руки в отчаянии, предвидя неизбежную гибель.

Наконец рубка совсем прекратилась, а лес шумел, словно насмехаясь над слабостью людской. «Руби два года, а потом с голоду помирай»,— говорили друг другу крестьяне. А лес все шумел, словно насмехался над ними.

Однажды вечером Вавжон пришел к Марысе и сказал:

— Видать, всем тут погибать, да и нам не миновать.

— На все воля божья,— ответила девушка,— до сих пор бог миловал нас, так, может быть, и теперь не оставит.

Она подняла свои синие, как васильки, глаза к звездам и при свете костра казалась точно святой. Парни из Чикаго и охотники из Техаса, глядя на нее, говорили:

— И мы тебя не оставим, Марыся, зорька ты наша румяная.

А девушка в это время думала, что есть только один-единственный, с которым она пошла бы на край света, это Ясек из Липинец. Но он, хоть обещал селезнем переплыть за нею море, птицей прилететь по небу, золотым перстеньком покатиться по дороге, не приплыл к ней, не прилетел и, верно, забыл ее, горемычную.

Марыся не могла не видеть, что в колонии дела идут плохо, но она в таких уже побывала омутах, из таких пропастей бог ей помог выбраться, что никто не мог поколебать ее уверенность в небесной помощи.

Кроме того, она вспоминала, что старый пан в Нью-Йорке, который помог им выбраться из нужды и приехать сюда, дал ей свою визитную карточку, сказав, что, когда у нее будет горе, пусть она обратится к нему, а он ей всегда поможет.

Между тем положение в колонии с каждым днем ухудшалось. Люди убегали по ночам, и что с ними было потом — неизвестно. А вокруг лес шумел и насмехался.

Но вот надорвался и старый Вавжон. Два дня он перемогался, боль переходила из позвонка в позвонок, а на третий день он уже не мог встать. Марыся пошла в лес, принесла мху, устлала им сколоченные бревна, уложила отца на эту постель и стала ему готовить какое-то снадобье с водкой.

— Марыся,— бормотал старик,— смерть уже идет ко мне из лесу; останешься ты сиротой одинокой на свете. Господь наказал меня за грехи мои тяжкие, за то, что увез я тебя за море и погубил. Тяжко мне будет помирать...

— Полно, отец,— отвечала девушка,— меня бы господь наказал, если бы я не пошла за тобой.

— Только бы мне одну тебя не оставить: отдал бы я тебя замуж, мне бы легче было помирать. Выходи за Черного Орлика, дочка, добрый он парень и тебя не оставит.

Черный Орлик, лучший тexasский охотник, услышав слова старика, бросился на колени.

– Благослови, отец,– сказал он,– люблю я эту девушку, как свою долю. А жизнь в лесу я знаю и не дам Марысеньке пропасть.

Стоя на коленях, он смотрел на Марысю, как на икону, но она поклонилась старику до земли и проговорила:

– Не невольте меня, отец: кому я поклялась, тот и будет мне мужем, а больше никто.

– Кому ты клялась, тот не будет твоим мужем, потому что я его убью,– ответил Орлик. – Моя ты будешь, Марыся, моя или ничья. Все мы тут пропадем, и ты пропадешь, ежели я тебя не спасу.

Черный Орлик был прав: колония действительно приближалась к гибели. Прошло еще недели две, съестные припасы кончились. Поселенцы били уже и рабочий скот. Начала свирепствовать лихорадка. Люди то проклинали судьбу, то взывали к небу о спасении. Однажды в воскресенье старики, молодые парни, женщины и дети, преклонив колени в траве, стали хором молиться. Верхушки деревьев перестали раскачиваться; лес, казалось, слушая, смолк. И только когда голоса утихли, он снова грозно зашумел, как бы говоря: «Я тут царь, я властелин, я тут сильнее всех!»

Но Черный Орлик, который немало лет провел в лесу, поднял на него свои черные глаза и, странно поглядев, промолвил:

– А ну-ка поборемся, кто кого...

Люди, в свою очередь, поглядели на Орлика, и надежда затеплилась в их сердцах. Многие знали его еще в Техасе и питали к нему большое доверие, так как он даже в Техасе славился как лучший охотник. Парень действительно одичал в степях и был крепок как дуб. На медведя он ходил один на один. В Сан-Антонио, где прежде жил Орлик, все знали, что нередко он уходил с ружьем месяца на два и всегда возвращался целым и невредимым. Черным его прозвали за смуглый от загара цвет кожи. Одно время даже поговаривали, будто он разбойничал на мексиканской границе, но это была неправда. Орлик приносил только звериные шкуры и иногда индейские скальпы, пока местный священник не пригрозил ему отлучением от церкви. Теперь в Боровине он один ни на что не обращал внимания и ни о чем не тревожился. Лес кормил его, поил и одевал.

И вот, когда поселенцы, потеряв голову, стали разбегаться, Орлик при поддержке остальных техасцев постепенно все прибрал к своим рукам. Когда он вызвал лес на бой, у всех мелькнула мысль: Орлик что-нибудь придумает.

Между тем солнце уже заходило. В вышине на черных ветвях железного дерева еще горели золотые лучи, потом они побагровели и, наконец, погасли. Дул северный ветер. Когда стемнело, Орлик взял ружье и ушел в лес.

Уже настала ночь, когда вдалеке, в черной лесной чаще, показалась большая золотая звезда, словно алела заря или всходило солнце; она росла со страшной быстротой, разливая кроваво-красное зарево.

– Лес горит! Лес горит! – слышались крики в лагере.

Тучи птиц с шумом поднялись со всех сторон леса, пронзительно свистя, щебеча и каркая. Скот в лагере жалобно замычал, выли собаки, люди металась в ужасе, не зная, не на них ли идет пожар, но сильный южный ветер гнал пламя в другую сторону. Тем временем вдали заалела вторая звезда, потом третья. Вскоре они слились с первой, и пожар забушевал на огромном пространстве. Пламя растекалось, как вода, перебегало по сухим гирляндам лиан и дикого винограда, захватывая листья. Ветер срывал горящие листья, и они неслись, словно огненные птицы по всему лесу. Деревья раскалывались в пламени со страшным грохотом, напоминая пушечные выстрелы. Шум, треск ветвей, глухой рев огня, крик птиц и рычания зверей наполняли воздух. Громадные деревья раскачивались, точно столбы пламени. Перегоревшие на сгибах лианы срывались сверху и, размахивая пылающими, как сатанинские руки, ветвями, перекидывали искры и огонь с дерева на дерево. Небо побагровело, словно и там был пожар. Стало светло, как днем. Сплошное море огня хлынуло на лес, неся гибель и смерть, словно гнев божий.

Дым, жар и запах гари наполнили воздух. Люди в лагере, хотя им не угрожала опасность, заметались в тревоге, окликая друг друга.

Вдруг из пылающего леса показался в искрах и пламени Черный Орлик. Его закопченное дымом лицо было грозно.

Он встал в кругу поселенцев, которые обступили его, и, опершись на оружие, сказал:

– Больше вам не придется рубить лес. Я его сжег. Завтра у вас будет вдоволь земли.

Потом, подойдя к Марысе, проговорил:

– Ты должна быть моею, потому что я тот, кто сжег лес. Кто здесь сильнее меня?

Увидев его ярко горящие глаза, девушка задрожала всем телом, таким страшным он ей показался.

Впервые с минуты приезда в Боровину она благодарила бога, что Ясь далеко в Липинцах.

Между тем пожар распространялся все дальше и дальше, небо хмурилось, собирался дождь.

На рассвете кое-кто из поселенцев отправился было посмотреть пожарище, но нестерпимый жар не позволял близко подойти к лесу. На следующий день дым от пожара висел в воздухе, точно густой туман, так что в нескольких шагах человек не видел человека. Ночью стал накрапывать дождь, который вскоре перешел в страшный ливень. Быть может, пожар способствовал скоплению туч, но, кроме того, пора была весенняя, когда на нижнем течении Миссисипи и на реках Арканзас и Красной всегда идут сильные дожди. Вызывается это испарением воды, которой изобилует болотистый Арканзас, особенно весной, когда в далеких горах тают снега и разливаются ручьи и озера. От ливня поляна размякла и мало-помалу превратилась в пруд.

Люди мокли по целым дням и начали хворать. Часть поселенцев решила покинуть колонию и отправилась в Кларксвилл, но вскоре вернулась с известием, что река разлилась и переехать на другой берег невозможно. Положение становилось

угрожающим: со времени прибытия поселенцев прошел уже месяц, съестные припасы подходили к концу, а ехать в Кларксвилл за новым транспортом было невысказано,

Только Вавжону и Марысе голод угрожал меньше, чем другим, так как их оберегала могущественная рука Черного Орлика. Каждый день он приносил им по утрам дичь, которую бил из ружья или ловил в капканы; над бревенчатым настилом, на котором лежал Вавжон, Орлик раскинул свой шатер, чтобы защитить от дождя старика и Марысю.

Приходилось пользоваться помощью Орлика, которую он почти навязывал, и вместе с тем обязываться ему, потому что денег он не брал и только настойчиво добивался руки Марыси.

– Разве я одна на свете,– говорила девушка,– ищи себе другую, как и я нашла другого.

Но Орлик отвечал:

– Хоть бы я весь свет исходил из конца в конец, другой такой, как ты, не найду. Ты для меня единственная на свете и должна быть моею. Ну, что ты будешь делать, когда отец умрет? Придешь ко мне, придешь сама, и я тебя схвачу, как волк ягненка, и унесу в лес, но не растерзаю, нет. Ты будешь моей, моя единственная. Кто тебя отнимет у меня? Кого я тут боюсь? Пусть приезжает твой Ясь: я хочу, чтобы он приехал сюда!

Что касается Вавжона, то Орлик был, видимо, прав. Старику становилось хуже день ото дня, порой он бредил, говорил о своих грехах, о Липинцах и о том, что бог ему не позволит их увидеть. Марыся проливала слезы над ним и над собой. Обещание Орлика поехать с ней хотя бы в Лиинцы, только бы она вышла за него замуж, было ей не радостно, а горько. Вернуться в Лиинцы, где живет Ясько, и вернуться чужой – ни за что! Лучше здесь умереть, под первым попавшимся деревом. Ей казалось, что так это и будет.

Тем временем новая угроза нависла над поселенцами.

Дождь все усиливался. Однажды в глухую ночь, когда Орлик, по обыкновению, ушел в лес, по лагерю пронесся отчаянный крик: «Вода! Вода!» Сразу проснувшись, поселенцы увидели белешую в темноте воду, которая с шумом плескалась о деревья. Тусклый рассеянный свет поблескивал сталью на бурно вздымавшихся волнах. С берега, где торчали пни, и из сожженного леса доносился шум стремительно хлынувшего потока. Со всех сторон послышались крики. Женщины и дети забирались в фургоны, мужчины во весь дух бежали па западный край поляны, где еще не были вырублены деревья. Вода уже доходила им до колен и быстро подымалась. Шум, доносившийся из лесу, все усиливался, смешиваясь с воплями ужаса, окликами и мольбами о спасении. Вскоре уже и крупный скот стал отступать под напором волн, перебегая с места на место. Течение становилось все стремительнее. Водой унесло овец, которые с жалобным блеянием призывали на помощь, пока не исчезли среди деревьев. Дождь лил как из ведра, и с каждой минутой положение становилось все более угрожающим. Отдаленный рокот сменился яростным ревом и гулом разбушевавшихся волн. Фургоны сотрясались под их ударами. Очевидно, река Арканзас и все ее притоки вышли из берегов. Это был не обычный ливень, а потоп: вода хлынула в лес и вырывала деревья с корнями, разбушевались стихии и несли ужас, мрак и смерть.

Один из фургонов, стоявший на опушке сожженного леса, упал. Послышался душераздирающий вопль находившихся в нем женщин: «Спасите!» Почти в ту же минуту несколько мужчин соскочили с деревьев и бросились на помощь, но волны подхватили их, закружили в водовороте и унесли в лес на погибель.

В иных фургонах женщины взобрались на полотняные крыши. Дождь шумел все громче, мрак сгущался. По бушующим волнам проносился то древесный ствол с вцепившейся в него человеческой фигурой, то темный силуэт зверя; то чья-то рука, на мгновение высунувшись из воды, исчезала в ней навсегда.

Яростный гул воды все возрастал, заглушая п отчаянный рев тонущих животных, и крики: «Иисусе! Иисусе, Мария!» На лугу образовались водовороты и омуты, фургоны исчезли.

Но что же случилось с Вавжоном и Марысей? Бревенчатый настил, на котором старик лежал в шатре Орлика, спас их, поплыв, как плот. Волны сначала покружили его по всей поляне, а затем понесли в лес, плот ударило об одно дерево, о другое и унесло течением куда-то в темную даль. Девушка, стоя на коленях подле больного отца, простирала руки к небу, взывая о помощи, но отвечали ей только удары волн, гонимых ветром... Шатер сорвало... да и плот мог разбиться с минуты на минуту, так как и впереди него, и сзади плыли вырванные с корнями деревья, которые могли их смять пли опрокинуть... Наконец плот врезался в какое-то дерево, и в ту же минуту с верхушки его, которая едва выступала из воды, послышался чей-то голос:

– Возьми ружье, и оба перейдите на ту сторону, чтобы плот не накренился, когда я прыгну...

Едва они исполнили приказание, как кто-то спрыгнул с дерева на плот. Это был Орлик.

– Марыся,– проговорил он твердо,– я сказал, что не оставлю тебя, и сдержал слово. Даст бог, спасу вас и от этой беды.

Он достал из-за пояса топор, срубил крепкий прямой сук, в один миг сделал из него нечто вроде весла, оттолкнулся от дерева и стал грести. Выбравшись на стремнину, они понеслись с быстротой молнии – куда? Они и сами не знали, но плыли. Время от времени Орлик отбрасывал в сторону попадавшиеся стволы и ветви или поворачивал плот, огибая стоявшее на пути дерево.

Его огромная сила, казалось, удвоилась, а зоркие глаза даже в темноте замечали малейшую опасность. Проходили часы, на месте Орлика всякий иной упал бы в изнеможении, а в нем даже не чувствовалось усталости. К утру они выбрались из лесов, и пред ними открылся широкий простор, без единого дерева. Зато вся окрестность казалась сплошным морем. Чудовищные желтые волны, покрытые гребнями пены, с ревом вздымались среди водной пустыни. Брезжил рассвет. Орлик, убедившись, что поблизости нет ни одного дерева, на минуту перестал грести и, повернувшись к Марысе, сказал:

– Теперь ты моя, потому что я вырвал тебя у смерти.

Голова его была обнажена, а мокрое лицо, разгоревшееся от борьбы с водой, дышало такой несокрушимой силой, что Марыся впервые не решилась ему напомнить о своем обете другому.

- Марыся, – мягко проговорил Орлик. – Марыся, моя ненаглядная!
- Куда мы плывем? – спросила девушка, чтобы переменить разговор.
- Эх, да не все ли равно! Лишь бы с тобой... желанная...
- Гребни, пока смерть еще близко.

Орлик снова взялся за весло. Между тем Вавжону становилось все хуже и хуже. Минутами его бросало в жар, потом жар спадал, но он делался все слабее и слабее. Слишком много лишений извело это старое, изможденное тело, и вот приближался конец и великий вечный покой. В полдень он проснулся и сказал:

– Марыся, видно, мне уже не дожить до завтрашнего утра. Ох, дочка, дочка! Лучше бы я не уезжал из Липинец и не увозил бы тебя! Но бог милостив! Немало я горя видел, так авось он простит мне мои грехи. Схороните меня, как сможете, а тебя пусть Орлик свезет к старому господину в Нью-Йорк. Он добрый, пожалеет тебя, попроси у него на дорогу и поезжай в Липинцы. А я уже не вернусь. Боже, боже милосердный, дай хоть душе моей, словно птице, полететь в родные края...

Через минуту у него начался бред, он забормотал слова молитвы, но вдруг вскрикнул: «Не бросайте меня в воду, как пса». Потом ему, очевидно, вспомнилось, как он хотел утопить Марысю, и он взмолился: «Дочка моя, прости ты меня! Прости!..»

Девушка сидела у изголовья умирающего и рыдала... Орлик греб по-прежнему, но и его душили слезы.

К вечеру небо прояснилось. На закате солнце показалось над затопленной местностью, отражаясь в воде длинной золотистой лентой. Старик умирал. Бог, однако, смиловался над ним и послал ему тихую, легкую смерть. Сначала Вавжон жалобным голосом повторял: «Уехал я из родной земли», но потом в бреду ему показалось, что он возвращается на родину. Вот чудится ему, будто старый господин в Нью-Йорке дал ему денег на дорогу и на покупку земли и они едут с Марысей назад, на родину. Они на океане, корабль плывет день и ночь, матросы поют. Потом он видит порт в Гамбурге, из которого они выехали, какие-то города мелькают у него перед глазами, вокруг звучит немецкая речь, но поезд летит вперед, и Вавжон чувствует, что он все ближе к дому, от радости у него ширится грудь, иным, милым ароматом повеяло с родной стороны. Но что это? Уже граница? Бедное крестьянское сердце стучит, как молоток... Скорей, скорей! Боже мой, боже! Да вон уже поле, вон и груша Мацека... родные серые избы и костелы. Вот неподалеку крестьянин в барашковой шапке ходит за плугом. Вавжон протягивает к нему руки из вагона: «Хозяин! Хозяин!..», но не может ни слова вымолвить... Едут дальше. А там что? Город Пширембле, и за ним Липинцы. Они идут с Марысей по дороге и плачут. Уже весна. Цветет рожь... жужжат майские жуки... в Пширембле звонят в костеле... О господи! За что столько счастья ему, грешному? Еще перейти вон тот холм, а там уже крест, и начинаются Липинцы. Они уже не идут, а летят как на крыльях, вот они уже на холме у креста. Старик падает на колени, громко рыдает от счастья, целует землю, затем подползает к кресту и обнимает его обеими руками: наконец он в Липинцах! Да, это так, наконец он в Липинцах, и только его мертвое тело покоится на блуждающем но разлившимся рекам плоту, а душа улетела туда, где ждет ее счастье и покой...

Тщетно дочь причитает над ним и зовет: «Отец! Отец!» Бедная Марыся, он уже не

вернется к тебе! Ему слишком хорошо в Липинцах.

Настала ночь. У Орлика весло уже вываливалось из рук, да и голод его донимал. Марыся, стоя на коленях возле покойного отца, прерывающимся голосом читала молитвы, а кругом до самого горизонта виднелась лишь бескрайняя водная пустыня.

Наконец они попали в русло какой-то реки, плот понесло течением с такой быстротой, что невозможно было им управлять. Орлик уже чувствовал, что силы его покидают, но вдруг вскочил и крикнул:

– Клянусь богом, там свет!

Он протянул руку, указывая куда-то вдаль. Марыся глянула: действительно, вдалеке будто мелькал огонек, отражаясь в воде длинной полосой.

– Это лодка из Кларксвилла! – взволнованно проговорил Орлик. – Видно, нас едут спасать. Только бы не разминуться с ними. Я спасу тебя, Марыся, поверь мне.

Он стал грести изо всех сил. Огонек все увеличивался, и в его красном свете уже можно было различить очертания большой лодки. Она была еще очень далеко, но расстояние между ними с каждой минутой уменьшалось. Вдруг Орлик заметил, что лодка не подвигается вперед.

Плот их подхватило сильным течением и несло в сторону, противоположную лодке.

Внезапно сук, которым греб Орлик, сломался. Они остались без весла. Течение относило их все дальше, огонек уменьшался. К счастью, через четверть часа плот наскочил на дерево, одиноко стоявшее в залитой водой степи, и застрял в его ветвях.

Они стали громко звать на помощь, но шум воды заглушал их голоса.

– Я выстрелю, – сказал Орлик, – они увидят вспышку, услышат грохот.

Он поднял вверх ружье, но вместо выстрела раздался глухой стук. Порох отсырел.

Орлик упал на плот. Надежды не было. С минуту он лежал точно мертвый, наконец встал и проговорил:

– Марыся... Другую девушку я давно бы силой увел в леса. Хотел я и с тобой так сделать, да не посмел, потому что полюбил тебя. Я бродил по свету один, как волк, люди боялись меня, а я тебя испугался. Видно, приворожила ты меня. А не захочешь ты быть моей, тогда лучше смерть. Жив не буду, а спасу тебя, Марыся, а если суждено мне помереть, ты пожалей меня, голубка, и помолись за меня. Чем я тебя обидел? Ведь я и слова худого тебе не сказал. Эх! Марыся! Живи счастливо, любушка моя, солнышко ты мое...

И прежде чем она поняла, что он хочет сделать, Орлик бросился в воду и поплыл. С минуту Марыся видела в темноте его голову и руки, рассекавшие воду. Но вскоре он исчез из виду. Орлик плыл к лодке, чтобы спасти девушку. Стремительное течение уносило его назад, но Орлик преодолевал его и плыл вперед. Если бы его подхватило другое течение, он бы, наверное, доплыл. Между тем, несмотря на нечеловеческие усилия, он еле-еле подвигался. Брызги пены то и дело заливали ему глаза; Орлик подымал голову, отыскивая огонек лодки. Набегавшие волны то

отбрасывали его назад, то подымали вверх, дышать становилось все труднее, ноги начали неметь. В голове промелькнула мысль: «Не доплыву». Но вдруг словно кто-то шепнул ему на ухо, как будто любимый голос Марыси: «Спаси меня!» – и он опять отчаянно стал рассекать воду руками... Если бы Орлик повернул назад, течение донесло бы его до плота, но он и не думал об этом, так как огонек уже приближался. Лодка плыла к нему; ее несло то же течение, с которым он боролся. Внезапно Орлик почувствовал, что ногу у него свело судорогой. Еще несколько отчаянных усилий... Лодка все ближе... «На помощь, спасите!» Последнее слово заглушила захлестнувшая его волна. Он стал тонуть. Волны уже катились над его головой, но он снова вынырнул. Вот уже лодка совсем близко. Уже слышен плеск весел и их стук об уключины. Орлик в последний раз напрягает голос и зовет на помощь. Должно быть, его услышали, потому что весла быстрее задвигались. Но Орлик снова скрылся, попав в стремительный водоворот. На мгновение он еще раз показался над водой, потом уже только рука его вскинулась вверх, и Орлик исчез в пучине...

Между тем Марыся, оставшись одна с трупом отца, смотрела, как безумная, на мелькающий вдали огонек.

Но течение уже несло его к ней. Вскоре из темноты выступила большая лодка. При свете факела весла двигались, точно красные ноги исполинского червяка. Марыся отчаянно закричала.

– Эй, Смит, – проговорил по-английски один из гребцов. – Пусть меня повесят, если я не слышал, как звали на помощь, и если не слышу опять.

Через минуту сильные руки перенесли Марысю в лодку, но Черного Орлика там не было.

Спустя два месяца Марыся вышла из больницы в Литтл-Роке и на собранные добрыми людьми деньги поехала в Нью-Йорк.

А денег этих было немного. Часть дороги ей пришлось идти пешком, но благодаря тому, что она уже немного говорила по-английски, ей удавалось иногда упросить кондукторов провезти ее несколько станций даром. Многие с состраданием смотрели на эту бледную, изнуренную болезнью девушку с большими синими глазами, похожую скорее на тень, чем на человека, со слезами умоляющую о милосердии. Не люди издевались над ней, а жизнь и ее условия. Что было делать в американском водовороте, в этом гигантском «бизнесе» полевому цветку из Липинец? Как жить? Гигантская колесница неизбежно должна была раздавить это хрупкое существо, как всякий воз давит попавшиеся ему на дороге полевые цветы...

Исхудалой, дрожащей от слабости рукой она дернула звонок. На Вотер-стрит в Нью-Йорке Марыся пришла за помощью к старому господину, уроженцу Познани.

Дверь отпер какой-то незнакомый человек.

– Мистер Златопольский дома?

– Кто это такой?

– Это уже старый господин, – ответила Марыся и показала карточку.

– Умер.

– Умер? А сын его? Вильям?

– Уехал.

– А дочь, Дженни?

– Тоже уехала.

Дверь закрылась. Девушка села на порог, утирая слезы. Вот она снова очутилась в Нью-Йорке, одна, без помощи, без крова над головой, без денег.

Что же ей делать? Остаться в Нью-Йорке? Ни за что! Она пойдет в порт, в немецкие доки, и умолит капитана какого-нибудь парохода взять ее с собой, а если он сжалится и пустит ее, она, хоть нищенствуя, пешком пройдет всю Германию и вернется в родные Липинцы. Там ее Ясько. Кроме него, теперь у нее уже никого нет на свете. Если он не примет ее, если позабыл, если оттолкнет, все же она хоть умрет близ него.

Марыся вошла в порт и на коленях стала молить немецких капитанов;.. Они бы, пожалуй, ее взяли: ее бы только подкормить немножко, будет красивая девушка. Они бы с удовольствием, но что делать? Не полагается по закону... да, наконец, соблазн и дурной пример матросам... Пусть уж лучше она оставит их в покое.

Ночевать Марыся ходила на ту же платформу, где ночевала с отцом в ту памятную ночь, когда он хотел ее утопить. Питалась тем, что выбрасывала на берег вода, как питались они с отцом в Нью-Йорке. К счастью, хоть было лето... тепло...

Каждый день, чуть брезжил рассвет, она ходила в немецкие доки и каждый день тщетно умоляла взять ее на пароход. Она выказывала чисто крестьянское упорство. Однако силы уже покидали ее. Девушка чувствовала, что если не уедет сейчас, то скоро умрет, как умерли все, с кем связала ее судьба.

Однажды утром она с трудом притащилась в порт, с мыслью, что это, вероятно, в последний раз, так как завтра у нее уже не хватит сил. Марыся решила не просить, а незаметно пробраться на первый попавшийся пароход, отправляющийся в Европу, и спрятаться где-нибудь в трюме. Когда пароход выйдет в море и ее найдут, то ведь не выбросят же ее в воду, а если и бросят, так что же? Не все ли равно, как умирать, раз надо умирать.

К несчастью, у сходней, ведущих на пароход, зорко следили за входящими, и при первой же попытке сторож ее прогнал.

Марыся молча отошла в сторону и села на сваю у воды, чувствуя, что у нее как будто начинается жар.

Она стала что-то бормотать про себя и улыбаться...

– Я теперь помещица, Ясько, а все равно я осталась тебе верна. Ты что же, не узнаешь меня?

Бедняжка помешалась. С той поры она ежедневно приходила в порт поджидать своего Яська. Люди привыкли к ней и иногда подавали милостыню. Она смиренно благодарила и улыбалась, как дитя. Так продолжалось месяца два. Но вот однажды она не пришла

в порт, и с того дня ее больше не видели. Только на следующий день в полицейской газете сообщалось, что в порту, около самой воды, найдено тело девушки, фамилия и происхождение которой неизвестны.

1879

ПРИМЕЧАНИЯ

Повесть была начата, как предполагают, в 1879 году в Риме. Уже в феврале следующего года в Варшаве автор выступает с ее публичным чтением, причем первоначальный вариант отличался от окончательного (в Америку прибывал жених Марыси, Ясько). Первая публикация – в «Газете польской» (с 24 апреля по 4 июня 1880 г.) и почти одновременно в «Дзеннике познаньском». Сенкевич, много занимавшийся во время пребывания в Америке проблемами польских эмигрантов, по возвращении на родину рассказывал в лекциях и в печати о их положении. Говоря о поводах к эмиграции, писатель называл в их числе голод, отсутствие политических свобод и уговоры агентов. Эмиграция ради заработка затронула во второй половине XIX века все польские земли: до начала первой мировой войны в США эмигрировало из Германии около 600 тысяч поляков, из Австро-Венгрии такое же количество (преимущественно крестьян), а из Россия в США и Бразилию – свыше 750 тысяч.

Б. Стахеев

Примечания

1 Где немецкое отечество? (нем.)

2 Что? (нем.)

3 Что такое Липинец? (нем.)

4 Брат (нем.).

5 Теперь я немец (нем.).

6 Счастья! (нем.)

7 Послушайте! (англ.)

8 Да, отец! (англ.)

9 Всему миру (лат.)

10 Country – области (англ.).

11 Rye-bread – ржаной хлеб (англ.).

12 Car – железнодорожный вагон (англ.).

13 City – город (англ.).

14 Lumber – строевой лес (англ.).

15 Canyon – здесь: ущелье с золотыми россыпями (англ.).

16 Shingle – камень (англ.).

17 Creek –речка (англ.).

18 Фулишнровать (от англ. foolish) – считать дураком.